

A dark, grainy photograph of a multi-story building at night. Several windows are illuminated from within, casting a warm glow against the dark exterior. The building is partially obscured by dark, leafless tree branches in the foreground. The overall mood is somber and atmospheric.

Дмитрий Бураго

Город

Дмитрий Бураго

Город



Я благодарен своему брату за дизайн и вёрстку. А главное – просто за то, что он, вот такой, есть.

Я благодарен Максиму Сорокину за издание этой книги. Но в первую очередь – за то, какой он друг и читатель.

Я благодарен корректорам за бессонные ночи над этой книгой. А редактору ещё и за его собственные стихи!

Надо быть проще. Я благодарен моим друзьям и подругам, – не называю имён. Всем без исключения. Без них жизнь была бы лишена смысла. И не было бы никакой книжки.

Дизайн и вёрстка А. Бураго

Редактор А. Леонтьев

Корректоры К. Иванова и А. Леонтьев

Фотомонтаж коллажа Н. Каневской

ISBN: 5-901545-06-0

Отягчающие обстоятельства

Перед вами – не гербарий из стихов под одной обложкой, а скорее связанное – не повествование, конечно! – исследование на тему: а что же это такое – душа? И может ли она жить в человеческом теле, мозге: в теле животного, изготовленного за миллионы лет эволюции; в мозге, в котором «защиты» рефлексы и устремления, предназначенные только для успешного выживания среди зверей, для передачи генотипа? И что делать с разумом – страшной штукой, к которой ни тело, ни душа совершенно не готовы?

Понять, как всегда, ничего не удалось, зато всё обросло кучей подробностей. Книга продолжает «Чужое столетие», опубликованное в 2003 году. Хронология очевидна: 2003 – 2006; одно исключение обозначено в тексте – ищите ещё два.

Как вам такой лирический герой: *способ мышления?* Рискну: беру в трупку. И даже не в кордебалет...

Но всё-таки это – книга стихов. Тогда зачем же всё остальное? Сам нервничаю. Но такая беда. Бывают стихи, которые можно (а иногда и нужно) проговаривать, *не вникая в слова* (а стихи необходимо именно «проговаривать»). Здесь, увы, не тот случай. И хотя вообще-то прекрасно, если автор может остаться *инкогнито*, – я боюсь быть неточно понятым. Поэтому, хоть и отвратительно говорить о себе – тем более что от себя самого я устал больше всего – придётся. «Броды, мосты, только нет ни одной реки». Обериутство? – да несколько! Если знать, что автор много лет пытался привыкнуть к *квантовой* логике, для которой здесь всё совершенно естественно, то смысл становится другим. И сразу ясно, *зачем Бор* в следующей строфе. А грека в телеге с треской – ну да, конечно же, Ломоносов.

Уже больше десяти лет я служу профессором математики в университете штата Пенсильвания. Особенности

моей «позиции» позволяют, однако, проводить там только около шести месяцев в году. Ещё месяцев пять живу в Питере. Зачем я это говорю? Эклектичность может показаться вычурностью, изобилие географических названий – экзотикой. Но что поделаться, если приходится два раза в год превращаться из подвыпившего питерского литератора в адекватного американского профессора, да еще и администратора: директора аспирантуры, – и к тому же болтаться по конференциям в Европе? Сейчас вот собираюсь в Китай – вербовать аспирантов... Добавьте долгие годы размышлений о математике – деятельность совершенно противоестественную и наносящую непоправимый вред человеческому мозгу – и вот вам и болезненность, и извращенность, и нездоровые фантазии. Человеку куда более свойственно с жердью на мамонта ходить. Но такая беда: повымерли они, мамонты. А то бы я...

А если серьёзно – далеко ли мы ушли от эллинизма? Христианство тут ни при чём – всё-таки пока мы живем в языческом мире. Человечество-то изменилось, а вот человек? Про эллинов говорю потому, что корни нашей культуры надо искать именно в их цивилизации. Не только непревзойдённый расцвет духовности, но и, возможно, самое совершенное общество. Конечно, задача – построенное на рабовладении. Но так этого и сегодня хватает. Просто география щадит щепетильных: с глаз долой – из сердца вон...

Но кое-что всё-таки произошло. Причём совсем недавно.

Появилось слово «прогресс». Время начало двигаться! Мир стал меняться на протяжении одной человеческой жизни, поколения, десятилетия. Пошёл отсчёт веков, лет, может быть – месяцев. Да-а, вот оно: «прогресс».

Тысячелетия душами владели песни и легенды, а властителями умов были барды, ораторы, философы. И сегодня нас волнуют Гомер, Овидий, Гораций. Вот уже полтора века прошло, а писателя, превзошедшего Толстого, в мировой литературе не появилось! Кто

рисовал лучше Леонардо? Никакого прогресса! А вот научные достижения столетней давности представляют теперь скорее исторический интерес. Как уроки природоведения в третьем классе. Приятно вспомнить, но... Конечно, изучать процесс познания – очень увлекательно. Но мы ведь не об этом, да?

Жили-были всякие чудаки. Учёные. Было их немного. И дела было до них мало. Иногда они кому-то немного мешали – обычно если лезли не в своё дело – в философию, религию, политику. А достижения «технологии» – палка-копалка, праща, плуг, трёхпольное земледелие, фарфор,ковка металлов, порох, дыба – были продуктами повседневного опыта да народной смётки. Но никак не научной мысли.

А потом случилось непоправимое. Как обычно – сперва почти незаметно. Где-то лет двести-триста назад. Научное мышление начало влиять на жизнь людей. Сегодня трудно поверить, что пятнадцать лет тому Интернета практически не существовало! Да ладно, и бог бы с ним. Неизлечимых болезней почти не осталось! – дело в цене. А завтра, может, и вовсе не останется. На луну летать незачем? Но стоял я года четыре назад у могилы Пушкина. И сравнивал дату захоронения с датой прощания в Петербурге. Больше недели разницы. Хорошо, что зима была – холодно: довели. А если бы в июле? Я-то на крошечном прокатном «Рено» цвета яичного желтка докатил до Питера за три часа... А путешествие в Америку? Месяцы в пути, шторма, пираты. Расставание практически «навсегда».

Хуже всего – мы всерьёз решили разобраться в том, как работает мозг. И как мы устроены. «Модельки» начали строить. Но не хочу я об этом: буду плохо спать.

А вот интерес к художественным ценностям идёт под гору. Конечно, в пору первой влюблённости почти все таки пописывают стишки. А что читают? Зато научное мышление – патология, заболевание «головы» – начинает будоражить даже фантазию масс. Фильм «Игры

разума» идёт в больших кинотеатрах, а Перельман – в прошлом странноватый аспирант моего отца, доказавший недавно гипотезу Пуанкаре – становится героем народного творчества, персонажем анекдотов. Причём никто из «творцов» совершенно не понимает, о чём эта гипотеза. И пусть до «Штирлица» Перельману ещё далеко, но всё же...

Вот мы и добрались до главного. Где-то на пересечении этих восходящей и нисходящей линий и сочинялась эта книга. Да ещё и на фоне запутанной личной жизни, болтания между двумя странами и культурами, злоупотребления алкоголем, похоти, обжорства и гипертонии; плюс горячее детство с зоопарком на дому, сплав по горным речкам, боязнь высоты, избыток тестостерона, отсутствие музыкального слуха; скверные привычки расчёсывать голову и работать по ночам, бессонница, близорукость, нервозность, – лечиться пора! Но без этого – ничего бы не получилось.

И вот перед вами книжка неизвестного жанра. Можно поплакать и посмеяться, – можно и призадуматься. Стихотворения – они и самостоятельные произведения, а остальное – что-то вроде прозы, но не совсем – вне контекста не жизнеспособно. Моё дело – предупредить!

Ещё замечу, что в огороде-то бузина – однако никакого отношения к соименнику из Киева я не имею. В Киеве был всего пару раз – к слову, очень красивый город. Я влюбился с первого взгляда. Но... Из *литературы*, не считая нескольких подборок в «Звезде», «Urbі» и «Folio Verso», мною опубликовано только «Чужое столетие». Под *не-литературой* имею в виду математику; кстати, книжку в 450 страниц (написанную в соавторстве с отцом и с моим когда-то учеником, а ныне коллегой, который меня, возможно, уже перерос) недавно перевели с английского и издали в России.

А фотограф я никудышный. С трудом наковырял с десятков фотографий, где удалось заснять не то, что видел, а что *хотел* увидеть. Не судите строго.



Вокзал



Город

Глядящему в окно не вспомнить, почему же
обида на зубах скрипит, как скорлупа.
Поэтому ему, пожалуй, даже хуже:
болезненной укол, когда игла тупа.

У плачущей во сне, ни в чём не виноватой,
росинка меж ресниц похожа на звезду.
И близкая душа, медведь, набитый ватой,
глядит во все глаза упорно в темноту.

На выдохе слегка дрожит упрямый локон.
Ползут материки. Шумит прибор веков.
И чёрные дома в прорехах жёлтых окон
летят-летят сквозь мрак, сквозь клочья облаков.

Баллада о тюлевых шторах

Можно жить и трудиться во всякой стране,
но почти невозможно прижиться вполне,
а тому, кто в годах, так труднее втройне.

Мой герой не спешил совершенно в Чикаго,
но, в себя погружен, по привычке однако
превышал миль на десять. Подумав о том,
до чего же противно базарить с ментом,
на обочину съехав, промолвил: «Неправ»,
сократив процедуру (а может, и штраф).

Что умно. Но смешнее и хуже и не
учинить, чем звонить, и немедля, жене.
Был и так он на взводе порядком уже,
десять тюлевых шторок везя в багаже.
Он, любитель модерна, таких жалюзи
напривинчивал, верно ж?! Она: «Привези...»
всё зудит! Сгоряча посылал даже на...
Но привез...

Только трубку взяла не жена:
та с утра от инсульта, представь, померла.
Тут баллады конец. Вот такие дела.

Мой герой – ему где-нибудь под шестьдесят.
Чуть седой, он из этих, из тех, что косят
всё на сторону, с юбкой любую непрочь...
И, поверишь, не многие гонят их прочь...

А в Чикаго духовкою дышит июль,
и на окнах стыдливо колыхнется тюль.

И нельзя синевы зачерпнуть из ручья.
И душа-то, увы, не смягчится ничья.
Не заплачете вы, да не плачу и я.

Вот и всё. Закрывайте открытые рты!
Что там страхи твои? – Ах, боязнь темноты?
Поздним солнцем разбужен, вдруг всмотришься ты,
чуть не воя от лишкой в груди пустоты,
рядом женщины спящей в чужие черты...

.....

Куклы

Мне кажется, зеленоглазой рыбке
так не хватает
моей улыбки.
Боюсь соврать, столь очертанья зыбки.
Я не сыграю
тебе на скрипке,

мой друг немой: она звучит в душе,
и я бы спел почище Беранже,
да слуха бог не дал. Почти клише:
давай поговорим об анаше.

И жизнь нала-
живается уже.

Не попрекай: спасаемся от стужи.
В аквариуме, в банке или в луже
(и даже непонятно, кто – снаружи)
гурами, гуппи, нимфы, – почему же

схожу с ума от блеска ваших глаз?
Зачем для легких
нам нужен газ?
Я, как и все, немножко водолаз.
В бокале – сухо.
Фитиль погас.

Так одиночество нас загоняет в угол.
Бутылку коньяка за вечер я ухрюкал
и пару дюжин строк настукал.

Напоминаем – кукол:

от дятлов жупела щекастого на крыше
на даче в Горьковской, и там же, ниже,
медведя ветхого в чердачной нише
(его нутро давно изгрызли мыши)
и близнеца его холёного в Париже –

и чёртика чугунного на крышке
рояля мёртвого у бабушки-глупышки.

Голуби

Голубь в окне ворону плечом
пихает, за корку споря.
А я – как в кино, я тут ни при чём,
я просто сижу у моря.

А вот – каблучками по мостовой,
качая бёдрами, мимо...
И я не у моря, я сам не свой:
это неизлечимо.

А ты на диване ревьешь ничком,
орёшь мне: «В окно не пялься!».
Три голубя над помойным бачком
кружатся в ритме вальса.

Чебурашка

За сорок крон – ни ломтика свободы.
Но ты купи, к примеру, черепашку.
А лучше – зверя плюшевой породы.
Любить куда сподручней Чебурашку.

Он не храпит и никогда не злится.
И что ему грудастые лолиты?
Конечно, жаль. Тут вырвана страница.
Слова забыты.

Платье

Не вспоминай, кто уткнулся, уснув, в плечо.
Разницы нет. Незрячий почти, как крот,
склянку нашарь, там на треть коньяка ещё,
и содержимое выплесни смело в рот.

Не вспоминай, озверев в затылке боль.
Разницы нет. А женское есть тепло.
Жидкий кристалл снова делит один на ноль:
позднее солнце сквозь потное льёт стекло

оторопь дня на чудовищный натюрморт.
Чей это дом? И спорил вчера о чём?
Что угадаешь по платью-то, умный чорт?
Не вспоминай. И не шевели плечом.

Серафим

Я съел кружочек колбасы
и влез зачем-то на весы.
О господи спасы!

Но я поел ещё – на кой?..
Встал на весы одной ногой,
как был – нагой.
Кошмар какой!

Что делать, если не уснуть? –
И я поел ещё чуть-чуть.
Забыл к весам я вовсе путь,
хоть чуял – жуть!

Мне было очень нелегко.
Я пил парное молоко,
кумыс, айран, катык, кефир,
и ненавидел мир.

Я много пил и мало спал.
Стал шестикрыл и шестипал.
Душой дитя, судьбой – амбал.
Спешу на бал.

Ты вот что, – лучше помолчи
про колбасу и про ключи.
Про женщин и про кирпичи,
про обезьянку Чичичи.

Мол-чи!

Саше Леонтьеву

...я прост, как три рубля,
вы лучше, вы сложны.

Борис Рыжий

– Ну что за чорт, имей же честь:
всего-то выпито по триста?! –
Читаю Чехова бог весть
зачем: лечусь у окулиста;
но мочи очи нет отвести
от черных буковок. И мглиста

черта за Муринским ручьём.
Что в черепушке? Тараканы?
Да слизь. Иль смерть. – Итак, начнём?
«Начнём, пожалуй». Где стаканы?
Потом таким же дурачьём
на А и Б – уедем в Канны.

Есть звери: выхухоль и тля.
Чудим-рядим да корчим лица.
И простираются поля,
степная скачет кобылица.
Непросто, бес, на три рубля
опохмелиться.

Ностальгия

Потому-то и лебеди нежные,
Что земными замучены формами...
А. Кушнер, из книги «Летучая Гряда»

Можно ямбом писать и гекзаметром.
Жить на цыпочках – и вразнос.
На Сан-Марко, гляди, кто-то тянет ром
и бормочет себе под нос:
«А под тот же настроен ли камертон
Адриатики шумый плёс?»

Что там лебеди нежные? – чайки лишь
из летучей плывут гряды.
«Всё как в Генуе: бродят, слетая с крыш,
у оливковых волн черты».
Про Тирренское море ль пишу? – расслышь:
всё в Таврическом про пруды.

Вновь с державой неладное что-то: грипп?
И в подъезде залип замок.
И практически всякий, кто не охрип,
никогда и шептать не мог.
Ведь сочтёмся не славой в их мире рыб?
Как-то – проще? Ну хоть намёк...

Объяснение в любви

И. Б.

О путешествиях приятней рассуждать или рассказывать, чем, скажем, в самом деле кормить клопов в каком-нибудь мотеле да «мух давить», разглядывая блядь провинциальную (но сей соблазн под стать желанью странствовать: вот так на каравелле отчалишь еле – хочется блевать).
С утра курить рассеянно в постели и только в полдень выехать опять.
Считать столбы, несущиеся вспять, и вспоминать, как тёрлось тело в теле.

При слове «родина» в груди какой-то ком.
Я побывал там после перестройки.
И каждый был, ей-ей, со мной знаком.
Я в гости зван был парнем, что в райком меня таскал и «Сказкою о Тройке» сполна попотчевал. Но той головомойке уже лет двадцать. Как финал попойке, с его подругой я такое в койке выделявал, что – расскажи тайком – Вы б принялись трудиться кулаком.
Вот телефончик Людки (или Зойки?).

В Венеции, пожалуй, нюхать гниль
приятней, чем на Мойке или Пряжке.
Но в Северной столице-замарашке
есть тоже свой особый шарм и стиль.
На длань вождя всё так же гадят пташки,
но всяк завёл коль не автомобиль,
так телефон мобильный. И милашки
на вкус любой у «Идеальной Чашки».
Приятно жить: нашарить тапки, иль
с тоской глядеть на голубые ляжки.
Водить рукой нетвёрдой по бумажке.

Да Вы ж мертвы. Я, кстати, Вас – любил?..

.....

Неудавшееся подражание Кушнеру

Захотелось, чтоб мирно китайцы ушли из Тибета,
 Чтобы смог Далай-Лама увидеть тибетское лето,
 Умереть во дворце своем в легкий предутренний час.
 Мир меняется к лучшему, но незаметно для нас.

А. Кушнер

Мир не становится хуже – напротив даже.
 Лучше зубные врачи, да и рестораны.
 Можно с пивком да закусками сесть на пляже,
 с девушкой пофлиртовать – ей, похоже, та же
 лажа нужна, и, уволь, никакой нирваны.
 Все не думаю даже об эпатаже.
 Все, замечу, не ноют былые раны.

Вот ведь какой амазонкою стала Тонька!
 Но не взопреешь, как в пятом зелёном классе.
 Разве что ёкнет внутри, да вздохнёшь тихонько.
 В теле, в душе ли есть струнки такие: тронь-ка!
 Так что уж лучше не трогать в таком вот разе.
 Маше и Васе сподручней служить в сберкассе.
 Очень вредны стишата народной массе.

Стыдно мне, стыдно! Ведь знаю, кого задену.
 Даже и оправданья искать не буду.
 Лбом невооружённым ломаю стену.
 Гладя всё время кого-нибудь по колену,
 не вспоминаешь Марусю, Наташу, Лену.
 Выше идёшь, удивляясь едва ли чуду.
 Надо пропылесосить, помыть посуду.

Долго же жил я одним предвкушеньем жизни.
 Что же она такое? – страшусь ответа.
 Но недурна и вполне удалась, не кисни.
 Суп и жаркое уносят? – так только свистни,
 тащат сыры. Будут фрукты в конце обеда!
 Песенка, слышишь, моя до конца не спета.
 Славно напиться вдрызг на своей же тризне.
 Жаль только – вот, не увижу цветов Тибета.

Причиталки

I

А можно ландышей нарвать:
 букет гвоздик купить в ларьке –
 и заманить Адель в кровать.
 С утра бессовестно зевать.
 В Тибет уехать налегке.
 Писать сонеты на песке.
 Без сожаленья забывать.
 Инжир на рынке воровать,
 форель сачком ловить в реке;
 с гребцом обняться в челноке.

II

Жить, изготовившись к броску?
 Смени пяток советских пломб!
 Цени в Онегине тоску,
 ругай Гомера за апломб.
 Любой квадрат – прищурься – ромб.
 Прижми, прижми ладонь к виску! –
 Не надо вовсе гекатомб:
 и тыщи водородных бомб
 страшней один обычный тромб
 в твоём мозгу... твоём мозгу.

Чужое столетие

- Are you one of them who want to save the world?
- Yes. But I only want to save it to my memory.
- Then why did you come here to speak to me?
- I beg for freedom.
- What makes you a slave?
- Mortals' fear of unknown.
- It is in your nature.
- Then tell me: what is Your World?
- You are confined to what you are. That is beyond your comprehension.
- Thank you. I am free now.

From "The Sacred Dialogs"

После инсульта, не чувствуя вовсе боли,
вроде в бессмятстве, всё же порой – кричат.
Тёмный предмет. Что-то скверное снится, то ли?
...Словно с обмылочков суши Мазай зайчат,
просто слова я спасаю от общей доли –
ну, не курьёз ли? – для ваших, заметьте, чад.

Да-с. Перебрался в Америку, дабы как-то
не егозя перебиться с питьём-шмотьём.
Но принимаю в расчёт обратимость акта.
Сплю чёрт-те с кем. Но всё с теми же пью. О чём
выскажусь, кстати, без ложного, скажем, такта:
как-то мы скушно сегодня, ребятки, пьём.

Худо тому, кто среди хищных подарков века
сам принимается, данности вопреки,
мыслить. А значит – и плакать не как калека.
Нынче, Создатель, Ты пасынков береги.
Едет, к примеру, с обозом с трескою грека:
броды, мосты, только нет ни одной реки.

Если обидно одним и другим досадно, –
не извиняюсь, что ересь принёс в собор:
лобные доли не выросли многократно.
– Кто тут подскажет, похож ли наш мир на тор?
Сдуру и сам залезал в тот раёшный сад, но –
яблочек понадкушали Эйнштейн и Бор.

Что ж до червивых огрызков – теперь народы
в очередь встали: равняйся во фрунт, учи!
– Если Ты есть, одного лишь прошу – свободы:
мимо промчавшись, от трусости излечи.
А возвращаясь, меня не застанешь – что Ты...
Может, скворец пару слов прокричит – в ночи.

Вокзал

Максиму Сорокину, листовая "The
Elegant Universe" by Brian Green

Итак, кукушка накуковала
каких-то вялых четыре «ку».
Прикинь, однако: никак не мало.
Взгляни в окошко, глотни чайку.
Мелькают Мюнхен и Сортовала.
Резвятся дети на берегу.
Кусты акаций. Фасад вокзала.
Четыре слова приберегу.

Едва ли свыше дождёмся знака.
Зуд любопытства невыносим.
Отдам за слово любого мага
четыре года и сорок зим.
Мелькают: бублик от токамача,
ню-йорков тыщи и хиросим.
Спит Эвридика. На дне Итака.
Но что ж, однако, за всем за сим?

Я поскользнулся вчера на сыре:
синяк темнеет вблизи виска.
Опять маячу покамест в тире:
дощёлкал как-то до сорока.
Когда ж отчалим? Уже четыре.
Прощай, дружище! Пока-пока.
Чего тут мяться, шагай пошире!
Поберегись-ка товарняка.

Давай-ка трогай! Поддай-ка газу!
К лицу составу – что шарф, что дым.
Четыре слова закончить фразу:
невероятен – но не любим.



Времена года



Начало века

К. И.

Смотри-ка, век почти не тронут.
Отпразднуй первую весну!
Деревья вымокшие тонут
в проталинах. – И я тону.

Но нет вчерашнего кошмара,
и ничего не решено.
И где-то слышится гитара,
едва приотворишь окно.

Никак моё застряло дело?
Не утонул, так сел на мель.
А кошки смотрят обалдело
на ошалевшую капель.

Норвежский лес

Крылья мельниц ветряных,
руки девушек беспечных.
Погрусти о первых встречах,
позабудь пока иных.

Привокзальный ресторан,
полусумрак, полудрёма.
Из оконного проёма
чей-то манит чудный стан.

В три свечи дрожащий свет.
Зря не три глаза руками.
Всё сказали Мураками
и простой помещик Фет.

Уезжай, уже экспресс
подают к твоей платформе.
Будешь девам в униформе
напевать «*Норвежский лес*».

Уезжай, уже экспресс
подают к твоей платформе.

Дорожная элегия

Я текстов тьму одобрил безучастно.
Визирую и твой. Звучит ужасно.

М. Щ.

Норвегия есть горняя страна.
Мы поняли: Норвегия странна.

Нам на неё денёчка не хватило:
иным милей всё делать впопыхах.
Итак: авто прокатное катило,
чихая, в стае сонных черепах,
терзало глаз закатное светило,
и экипаж известно чем пропах
(что знавших нас едва бы удивило).

Воскресный день. Поток беспечный плотен.
Мы влезли в Осло сквозь пролом в скале.
Что вспомню? – Мунка множество полотен.
Ещё – что был всегда навеселе,
в неглаженных штанах и очень потен.
– Я в жизни вовсе не сидел в седле!
(На сфинксе снявшись, словно на осле).

– Не в Осло же!.. – Помилуйте, не спорьте, –
как будто мы ругаемся о спорте:
правдивая поэзия скучна,
(и можно крепко схлопотать по морде,
нарвавшись на зануду-драчуна).
– Порассуждаем лучше о Вордсворте?
– Иль о Валюшке: ушла и юна.

Прости меня, замученная Муза –
 но раз уж песнетворца с геометром
 судьба забросила сюда попутным ветром,
 то избежать немислимо искуса
 с утра до вечера и пить и жрать от пуза.
 Вот ваш слуга – пародия на мэтра.
 Маэстро? Здесь. В берете не из фетра,
 растекшиися по креслу, как медуза,

надувшись вновь, брюзжит: о Нильсе Боре,
 об Андерсене и – презрев уют,
 он в Данию в мальчишеском задоре
 теперь спешит! Он верит: там нальют!
 Кто будет штурманить – ему какое горе?
 Что под мостом в семь миль бушует море
 и может сдуть, – спроси, при чём он тут?

В дорогу! Мысль немислима о торге.
 К тому ж душа ранима и нага;
 внимаю вновь в бессмысленном восторге:
*«Эй, пацаны, до туда два шага,
 а по пути, в известном Гётеборге,
 вы встретите поэта Маршака –
 сказать ещё? – и резидента Зорге».*
 И даже Насредина ишака.

(Последнего я, кстати, видел в морге:
 бедняга съел лепёшек три мешка.
 Как точно сказано: была тонка кишка!)

Прощай же, Осло! Что до ванны пенной –
 торопят так, что еду, не умывшись...
 – *Вся эта чушь, что мы плетём, напившись,
 не преумножит нашей славы тленной,* –
 но одолеет вечность, сохранившись
 в каких-то тёмных улочках Вселенной.

Ещё бы мог уединиться в тень я
и дописать в конце стихотворенья
(конечно, после сладостной цезуры!)
про Вогеландовы нескромные фигуры
(вот образец рекламы физкультуры),
про хищность глаз и ненасытность зренья,

про беспокойство – вот оно о чём!
Очнись, очнись, толкни меня плечом.

Бойтесь бурь? Оправданы сомненья.
Не забывайте про землетрясения –
но рвитесь вдаль. Хоть покупайте туры
и в них томитесь, пасмурны и хмуры, –
когда не встретите прекрасной страстной дуры;
страшитесь только участи растенья!
Не потакайте лености природы!

Но беспокойство! Снова дрожь в руках.
– *Поговори со мной о пустяках.*

– В Норвегии есть горы. Пни, опята,
есть Осло там, и ослики, ослята, –
а в Швеции – одни холмы да холмики,
зато – Стокгольм и мелкие стокгольмики.
– А в Дании? Неужто нынче ни...
– А вот давай-ка сам и сочини!

Купальщицы

Гуляй, гуляй, подружка, Натали,
по берегам незамерзающего Рейна.
Уважь, Борей, обрывки туч развей на
десятки миль. Пусть видится вдали
лишь, скажем, лес. Иль вилла. Круг бассейна.
Квадрат окна. Да просто: край земли.

Спеши, спеши, живи, не унывай.
Что в кулачке зажатая крупица
песка венецианского, что лица –
на мандале узор.

Гремит трамвай.

Такую дрянь качает зыбь у свай,
что даже неохота утопиться.

Забудь, забудь. Я тоже берегу
лишь звук имён (о боже: Анна, Анна!).
Я вижу мир сквозь зрение Сезанна:
купальщицы на ближнем берегу, –
мираж, мираж, но каждая – желанна.
И ветви гнёт безветрие в дугу.

Шарада

Хоть по утрам суставы не болят, –
года летят: обжорство и интриги.
...за столик Ваш подсяду наугад.
Как мило: первокурсница из Риги.

И ямочки, мой боже, на щеках!
Вам надо постоянно улыбаться
и восклицать восторженные «ах».
Мне? – сорок лет. Но было восемнадцать

ещё вчера. Вам заказать вина?–
здесь чай, как из плацкартного титана.
Моя душа, сознаюсь Вам, больна.
А Вас зовут (не сомневаюсь) – Анна?

И мостовых бесстыжее тепло!
И, слышите? – Конечно же, Вивальди.
И тополиным пухом замело
весенние промоины в асфальте.

Лукаво ты по-польски молвишь: «Так?»
По-итальянски я отвечу: «Si!»
Всё остальное, в сущности, пустяк:
мы остановим тотчас же такси...

Мне снится: жизни спутница моей,
нисколько мой не загубила дар ты
и родила мне славных сыновей;
я посещал музеи и театры,

и всё сбылось, что было суждено:
качель в саду, беседы о Магритте.
...ах, да. Давно закончилось вино.
Я заболтался, что ни говорите.

Таллин

Я Вас молю, сударыня: воспряньте!
Вам предложу взаправдашнего кянти
и персик, шелковистый, как щека
припудренная. Вы издалека?

Я угадаю: Рига или Таллин?
Весенний сплин, дымящихся проталин
вдоль полотна чернеет череда.
Вам не по нраву персик – не беда:

я раздобыл, нахально и с наскока,
в буфете апельсины из Марокко.
Ночной вагон. О'Генри. Смок Белью.
Позвольте Вам еще вина налью.

Огни комет, неровный контур леса.
Ни городов, ни смерти, ни прогресса.
Гремит состав и катится к утру.
Позвольте Вам скорей слезу утру.

Лишь влажных глаз сиянье на разъезде.
На всей земле мы уцелели вместе.
Волнистый локон, тонкая рука.
Вам предложу немножко коньяка

и расскажу – сегодня я в ударе –
про страусов в пустыне Калахари,
про вежи и про дудочки из них,
из зонтиков смертельных и родных.

И про озёра, кажется, Суматры,
где не взрослеют даже саламандры.
Я ненавижу подбирать слова.
Луна в окне уже полужива.

Мы подросли и выпили цикуту.
Расплата за прикосновение к чуду?
Что нас влечёт, нелепых, в те места,
о коих умолчу я неспроста?

Ночных огней предательские пятна.
До боли ты близка и непонятна.
Знакома с детских лет и далека.
Гремит состав, и мчатся облака.

Огни комет, неровный контур леса.
Ни городов, ни смерти, ни прогресса.
Сквозь чашу едет конный не спеша.
Колдунья кличет верного пажа.

Дымят поля, и видит сны страна.
Как молод мир! Гремит весна, весна...

Крымская песенка

Легких тентов у моря
не трепещет сатин,
не прохладен притин,
но в дали голубой,
словно с логикой споря,
безо всяких причин
возникает прибой.

Ладно, тронул лады бы
заблудившийся бриз:
лучше ветер без брызг.
Вот и кажется: сны,
как безглазые рыбы,
выбираются из
вековой глубины.

Лишь подростку в плацкарте
(вот ведь вспомнится вдруг)
душной ночью, на юг
оживляют вояж,
снясь: соседка по парте,
мезозойский испуг
да стыдливая блажь.

А за сорок, когда ты
восемь раз отсчитав
капли зелий и трав,
засыпаешь к пяти, –
снятся только утраты.
Варвар тот полуправ:
если б лишь позади.
Никуда не гляди.

У руин Херсонеса.....
.....

Держава

Саше Леонтьеву

Как скучно в городе в июле.
Гнетёт и давит духота.
Все, кто сумели, упорхнули.
Все, кто остались, – как всегда

погрязли в грядках и ремонтах,
да смотрят в офисах в окно.
Давай поспорим о бальмонтах,
попьём холодное вино.

Как много пьющих и едящих!
Но что им радужные сны.
И верно: мало настоящих.
Ну и кому мы тут нужны?

Была ль и вправду величава,
прямолинейно говоря,
та незнакомая держава,
что мне седалище царя

работы Павла Трубецкого
напоминает иногда?
Глотнуть бы воздуха морского!
Пошла б горячая вода.

Июль

Петруша, Петрушка,
шепни мне на ушко,
ты что в сараюшке
с Алёнкой вчера?
Алёнка, Алёна,
мой мозг воспалённый
расплавлен, и капают капли с пера.

И мокнет бумага,
всё кляксы да влага,
ни мягкого знака,
но жирное «Ю».
Офелия, фея,
ужель я, робея,
как мальчик, свой пыл теребящий стою.

О, взвою ли, Зоя?
Средь липкого зноя,
в лесах мезозоя,
затерян, ничей,
петляет игриво
туда, где крапива,
беспамятный дачный бесстыжий ручей.

Анютины глазки,
указки, подсказки,
ребячьи опаски
украдкой, а там –
наверно с разгона –
из джунглей неона
грохочешь уже по нью-йоркским мостам.

Пастушка, Мальвина...
Давно половина...
Элитные вина...
При чём тут вина...
Нисколько не жалко
пчелиного жалка.
И жизнь недурна, да отсюда видна.

На последнем дыхании

Она-то, может быть, и гадина,
но фраза главная украдена
у умирающего с уст.
Она уйдёт, не оглянувшись, но
его там больше нету всё равно,
огромный мир отныне пуст.

Ну да, пробежка с папироскою.
Поймёшь ли губ игру неброскую?
Уже не спросишь: «Не простишь?»
Она уйдёт, не зная главного.
И будет жить, наверно, заново.
Вокруг шумит чужой Париж.

Просить о чём-нибудь позволено?
Не допусти, чтобы, как в том кино,
моей души бесценный стон
толпа, жуя, перековеркала.
Потренируюсь-ка у зеркала
губами двигать так, как он.

Гербарий

У девушки в белом
огромные глаза.
В саду опустелом
осенняя буза.

Иных чудес не надо,
да всё сбылось уже.
Стиханье листопада,
деревья в неглиже.

У девушки в чёрном
зелёные глаза.
Но в сердце огромном
такая бирюза,

что даже и не снится
мне небо над Москвой.
Поет в руках синица
так сладко – просто вой.

А воздух расколот
небесной кутерьмой.
Приснилось: я молод,
но утомлён тюрьмой.

И мира я не знаю.
Во все глаза гляжу.
И отчему я краю
дивлюсь, как миражу.

А блузка упала.
Тут нужен антураж.
Давайте сначала
постелим клевер. Паж

притащит ширму. Или –
всё это – листопад?
Конечно, мы любили,
но вечно – невпопад.

Шпалы

Шагая по шпалам, ты так скажи:
«Каких я еще не вкушал чудес?»
Остались оазисы. Миражи –
исчезли. Последний мираж исчез.

Шагай, да под ноги гляди, не ной.
Не путь исчерпался – устал ходок.
И ветер вовсе не ледяной.
Поди-ка пойми, почему продрог.

На рельсах бензинный узор поблёк.
Но шпалы пока не спешат остыть.
Вспорхнул невиданный мотылёк.
Куда же твоя подевалась прыть?

Да вовсе чужой не манит простор.
И счастье, что в руки плыло, дразня –
какой подростковый никчёмный вздор.
Куда милей на закате дня –

на тёплых шпалах жуков возня,
случайных путников разговор.

Гроза

Гроза налетела внезапно, а зонтик, похоже, остался бездельничать в кожаном кресле в прихожей. Уж листья трепещут, и мне неуютно до дрожи, – на ту, четверть века назад, ни на грош не похожей:

я тоже писал, что, представь, проболел я всю зиму и только весной поправился. Лепет и ложь... Но – что ж нынче? Скликать ли ребят для прогулки по Крыму? И даже подумать о сборах, друзья, невозможно.

И мокнуть противно, и надо скорее под крышу; к тому же, раскиснув в кармане, так гадки и склизки облатки с таблетками... Только вот, кажется, слышу: пореже уже барабанят небесные брызги.

И точно – гляди! – над Сосновским опять лесопарком просвет голубой: эти тучи угрюмы да прятки. Ты будешь смеяться, я тронут неожиданным подарком: лило бы подольше, промок бы, пожалуй, до нитки.

Осень

Чем бормотать о жатве опять,
лучше упрямо слонов считать,
маясь с пяти без сна.
Много ль успеешь ты в сентябре?
Нынче бессмертие на дворе.
Встали часы. Весна.

В сети сардины сами идут.
Каждый в саду распустился прут.
Всякий цветёт лопух.
Жабы поют, глаза закатив:
им соловей подарил мотив.
Тут уж одно из двух:

или и сам свисти и фальшивь,
или мольберт раздобудь и вкривь
изображай и вкось
всё, что построишь ты из песка.
Всё остальное забрось пока.
Иль навсегда забрось.

Злое сердечко ноет внутри?
Ладно, ладонью упорно три
впадинку вдоль ребра.
Стебель случайный в пальцах вертя,
полем несжатым пройди, хотя
дождь моросит с утра.

Раннюю осень путали б мы
с маем, да внятен урок зимы.
Зелен убор лесной.
По фотографии не поймёшь:
разве тут листья бросает в дрожь?
Ладно. Скажу. Не ной!

И барыши считать не спеши:
если в итоге всегда гроши –
мы ли с тобой бедны?
Солнечный зайчик спрячешь в горсти?
Разве всё время должно везти?
Разве не снятся сны?..

.....



Памятник



Душа

Лёше Пурину

Не сокрушайся ни о чём.
Смотри, как солнечным лучом
зажжен жасмин. Идёт июль.
Мелькает в окнах белый тюль.

Еще не высохла роса.
До электрички полчаса.
И беспшабашный мотылёк
ползёт по шпалам поперёк.

И ты не бойся, не беда,
что ноет сердце иногда.
Ты так скажи: печаль легка.
А кочевые облака,

как будто выводок утят,
по небу светлому летят
в края иные не спеша.
И веришь вдруг, что есть душа.

Колыбельная для дочки

А может быть, других предостеречь –
моей нелепой жизни назначенье? –
И занавесей чудное свеченье,
и в дворницкой наваристая речь.

Апрельский снег и сутолока строк,
и женщины неровная походка, –
весь опыт мой, возможно, лишь намек
(на языке, чужом для одногодка).

И даже пудинг – режьте без ножа!
Ну, улыбнись, проказница и лгунья!
Сегодня ты изящна, как глазунья.
И, как волнушка первая, свежа.

О чём же мне поговорить с тобой...
Про медвежонка? Зря воротишь нос ты.
Что думаю, когда гляжу на звёзды?
Глаза прикрой и слушай слов прибой.

Любовь и смерть. Не две сестры. Скорей
две стороны потёршейся монеты
в два шекеля. Лысеющий еврей,
последние считающий рассветы

в больнице в Хайфе. Что ему хамсин?
Ему бы дотянуть теперь до марта.
Но держится не хуже Бонапарта.
Зачем о нём? – Отпаднее лосин

я не видал – а стукнет ей весной
семнадцать лет. Кудрява и сердита.
Такой курьёз – наоборот лолита:
рай без него ей погреб ледяной.

У них, небось, свое дупло в Стене –
хоть дела нет до веры иудейской.
Как прокричать во мрак – на арамейской
(Ему ль родной?) ненужной речи мне?

Года летят. Такие антраша:
её ты встретишь плачущей дурнушкой
над обгоревшей плюшевой игрушкой.
У медвежат, не знаешь, есть душа?

Они, как дети, плачут и растут?
О, как же радо сердце обмануться!
Ну что страшней разбившегося блюдца?
И что смешнее старческих простуд?

Спи, дочка, спи. В канаве торфяной
жабята вновь с судьбой играют в прятки.
Июнь. Паркет. Раскиданы перчатки:
блестят следы, подсвечены луной.

Как он себя, чудило, уберёт?
Его дрозды и сойки не склевали,
и муравьи не съели. «Не хорёк».
А бородавки – ты за них едва ли

его обидишь. (Хуже чешуя.
Мне чешуя вот тоже не по чину.).
Спи, дочка, спи. Тебя я не покину:
найдешь жабёнка – это буду я.

Дрозд

О, сельских похорон простая благодать.
От глиняных комков на лезвии лопаты
до ельника вдали. Мой милый, это ж гать:
коль в туфлях хлюпает, Вы сами виноваты.

Вдова в платке в слезах и рослые зятя.
В её печаль впорхнёт, что трогательно тоже,
случайных мыслей рой: «Поспела ли кутья?
И не к добру сосед с такою красной рожей:

ой, отчудит чего!.. И надо бы убрать
ненужные теперь железки из сарая.
Да заменить ещё со временем кровать.
И вот дела – земля-то вовсе не сырая,

а мёрзлая: не жаль по сотне за труды.
Ведь накидали лап, чтоб опускать не сразу
в болотистую топь натаявшей воды».
О, праздник пустоты, почти доступной глазу,

распад, пробивший брешь, подобную дыре,
обжитой, как нора у многодетной мыши,
прогрызенная в ей ненужном словаре.
И кажется: душе теперь неловко свыше,

от чёрных дыр (могил перегоревших звёзд)
подглядывать (иль так на глобус смотрят дети?),
как свежевзрытый дёрн перебирает дрозд,
в какой незнамо век, на маленькой планете.

Ручей

...до эволюции, что тысячи веков
лепила нашу плоть, кому какое дело.
Но всё, что так в душе понаболело –
следы теперь бессмысленных оков,
не в юрского ль периода трясине
ковавшихся? – но прочных и поныне.

...и заключённая – о боги! – в эту клеть
душа (коль есть она) – то вовсе и не птица.
Ей по ночам совсем другое снится.
Нисколько ей не хочется взлететь.
Но что привиделось – то, как туман над долом,
уже развеялось, и места нет глаголам.

...но, может быть, гуляя вдоль ручья
прозрачной осенью, по неродному краю,
порой и впрямь себя я забываю.
Среди сестёр летит звезда ничья.
И нет меня среди речного плеска
и стихшего сквозного перелеска.

Фотографии

А ей сейчас слегка за сорок лет.
Какая чушь, совсем не в этом дело:
искал я рифму к слову «пистолет»,
а то в архиве слишком черно-бело,
но кое-что цветное уцелело.

Бесстыдной плоти чудная тюрьма!
Я не боюсь. Подробности не тела,
скорей лица – сведут меня с ума.
Я не могу. Какой позор! Сама
сошла с ума: позировать посмела!

И никому мне их не показать.
И некому прочесть стихотворенье.
Хотя – как знать...

Холодная кровать.

И потолка бестрепетная гладь.
Скрещенье ног. Но не переплетенье.

А рифма – дрянь. И я-то не влюблён.
Душа ведь – ящер смрадный, а не птица.
Но иногда мелькнёт неясный сон,
мир приоткроется, как небо между крон,
и так светло, что впору застрелиться!

Может быть

О чём я говорю? А вспомни ты тогда,
как первокурсница нам в покер проиграла
на раздевание – боже! – в первый раз.
И для того смятения, стыда,
каких таких стихов не будет мало?
И отвести не можно было глаз.

О чем я говорю? – Ну да: цветёт жасмин.
До тех крапивников куда теперь жасмину?
Но жалких слов ещё волнует яд.
В саду сижу я вечером один.
Я стал умней. Привычно ломит спину.
Всё те же сосны надо мной шумят.

О чем я говорю? Ну вот: стихи – звучат.
А эта женщина, стоявшая без платья, –
что мотылёк. Непрочная пыльца
на пальцах: мел и блёстки. И зачат
лишь слабый звук. Нелепей нет занятия!
Что за беда: не вспомнить ни лица,

ни имени, ни голоса, ни тела.
Но, может быть...

Клёны

Где ты, где ты?
Гадаю: когда заснула?
В окнах твоих паутинками ломкая тень.
Платьице в солнечных бликах на спинке стула.
Хмуро глядишь, от дневного дуря гула?
Начинается день.
Начинается день.

Где ты, где ты?
Видел я этой ночью
странный сон: будто клёнов осенних сень.
Будто над гробом моим мужчины стояли молча,
только сутулясь немного. И знал я точно:
это – друзья.
Начинается день.

Где ты, где ты?

Река

М. Б.

I

Слегка чадит, спасая вечер, та,
где зримый мир кончается, черта.

Как сходит он на нет у той черты,
я забываю милые черты.

И только свет неясный берегу.
Всё ближе лес на дальнем берегу,

где рыбаки не тянут невода,
куда влечёт (но вовсе не вода

ползущей мимо пасмурной реки)
любой челнок; где, что ни изреки, –

увы, ничей не отворится слух.
Пусть обо мне пройдёт едва ли слух

меж граждан двух обжитых мной держав, –
но в том лесу, дыханье задержав,

я узнаю, рассудку вопреки,
наш прежний смех сквозь ровный шум реки.

II

*...Скребёт окно корявая сосна,
и, улыбаясь пасмурно со сна,*

*подросткам обезьяньим не чета,
выходят чинно к речке – не чета*

*и не любовники – скорее: брат, сестра;
карельский дождь несёт в залив Сестра;*

*спешит грибник в штормовке очертя
дурную голову; и, полукруг чертя,*

*зажжёт в свой срок, построив вечер, ту,
где суша с небом сходятся, черту*

*фонарь неоновый. Ажурных капель взвесь,
туман ползёт, как занавес...*

Ты взвесь,

*что растерял и что я берегу:
я у иной реки на берегу, –*

*скорее Лены или Ангары:
ангары с ядерным запасом, ад, дары*

*подобных мне. О, мир химер Дали!
Кто плачет там, за той рекой, вдали?*

III

Впотьмах, прости, не видно ни черта.
Дурной фонарь – закатная черта.

Неважно, с кем встречаешь вечер ты.
Я забываю милые черты.

Но слабый свет смущённо берегу.
Челнок почти на дальнем берегу

текущей мимо времени реки.
И в честь мою, приметам вопреки,

не протрубят попутные суда.
Но не рожок последнего суда

тревожит слух, а чудится: в бреду
на светлый смех за той рекой бреду.

Варежка

«Взять под мышку
рисунок Моды
и уйти».

А. А. А.

Благодарю не за «Данаю», –
за пару карандашных ню.
Благодарю за то, что знаю,
что ничего не сохраню.

И за прострелы в поясице,
и за снотворную траву.
За то, что мне порою снится,
уж не волнуя наяву.

За то, что мальчики так робки,
а нынче, видишь, плачу я.
Всего нашлась на дне коробки
случайно варежка – ничья.

За то, что летом пахнет мыло,
и за мурашки по спине.
Благодарю за всё, что было.
Благодарю за всё, что не.

Музыка

Б. Р.

Итак, музыкант играет в концертной зале.
Где я скучаю, допустим, в восьмом ряду.
Я в жисть не пошел бы, но те, кто меня позвали,
позвали так, что я дал слабину: «Приду».

И рядом старуха плачет от этих трелей,
и друг со значеньем заглядывает в глаза.
Я думаю о слепцах, что у акварелей
того же Мунка могли бы хоть два часа

смешною тростью по полу стучать незряче.
В палитре из ультразвука каких чудес
летучая мышь лишена, ну а я тем паче?
В ушко игольное глупый верблюд полез.

С годами все чувства делятся, скажем, на сто.
И несколько женщин, которых любил – иль так
привязан был сильно, – теперь мне звонят нечасто.
Какая-то шпонка сломалась. Досадный брак.

Я двинулся к Невскому. Вышел. Вошёл под арку.
Ну что же за люди всё время вокруг снуют?
Я радовался неловкости, как подарку.
Так сладостны неприютность и неуют!

Я буду, не слыша, слушать саксофониста.
Конечно, и в банте чёрном, и на ветру.
И будет впервые на сердце легко и чисто.
И долгожданные слёзы, стыдясь, утру.

Памятник

Я, собственно, тебя и помню-то едва ли.
И вряд ли б отыскал, плутая меж оград,
без помощи отца тот камень, где вначале
фамилия... твоя. А далее – подряд
ещё пяток имен. Везде в России тесно,
и бабушке моей достался лишь петит.
А строчку про меня и вовсе не известно
куда теперь гравёр, поохав, поместит.

Тут нужен ювелир. Сказать бы что-то вроде:
«огромный пласт угля сжимается в алмаз».
Но стайка воробьёв шумит о непогоде,
и время не глядит, прищурившись, на нас.
Наш опыт непохож. Тревожные громады
холодных городов. Послевоенный быт.
Рассветные дымы гудкам фабричным рады,
и спутники пищат восторженно с орбит.

Как сладко жил бы я, избавлен от сомнений,
державою гордясь, её простой полпред,
от потных прыгунов до чудных озарений:
от эллинских забав до шахматных побед.
Но в век, когда шутя машина б одолела
Набокова, игру волшебную губя,
не выпорхнешь, увы, как ласточка, из тела.
И я учусь глядеть иначе на себя.

И кажется, теперь, заговорив с тобою,
таким, как прежде, я не буду никогда.
Как дорог этот мир морщинкою любою.
Опять попала в глаз соринка... иль звезда.
Взгрустнёт ли обо мне потомок мой надменный?
Оплачет ли меня огромная страна?
К картонным небесам приклеен месяц медный,
и влага на губах горька и солоня.



Прямая речь



Смех сквозь слёзы

Надо бы поговорить. И зачем это я поместил всякую чепуху вроде «капустника» про «мотыля» или «Стихов для Вайнштейна» под одной обложкой с вещами, которые литературно гораздо сильнее? Даже неловко признаваться, когда большая половина книги уже позади. Но придётся. Я ведь не профессиональный литератор! И я их, кстати, недолюбиваю. Хотя чуть ли не половина моих ближайших друзей – как раз профессиональные литераторы. Так ведь и почти у каждого антисемита лучший друг – еврей... Но какая скука – цеховые штучки. И я, хоть и обожаю Анненского и Боратынского, ну никак не могу быть из цеха, где не читали Стругацких и Лема! XXI век на дворе! Одумайтесь!

Я послал «сагу» о мотыле моим друзьям и подругам. Никаким не писателям, но замечательным читателям: умным, образованным, интересующимся. И как же мне было приятно читать их ответы! «Был непростой день, пришёл домой унылый и наконец добрался до почты. И теперь мне хорошо: прочитал и смеюсь».

Как много серых дней! Как много хороших, но скучных книг! Господи, да если один человек пришёл с работы, прочитал эту безделицу и рассмеялся, и тяжесть ушла из сердца – хоть ненадолго! – всё уже не зря! К чёрту литературу!

Тут я, конечно, лукавлю. И дело даже не в том, что сегодня русская речь обеднела бы, выброси мы из неё анекдоты про Штирлица. Я рыдаю от смеха и смеюсь сквозь слёзы. Я пишу, балансируя на грани шутки и трагедии, пошлости и нежности. И дело тут не во мне. И даже не в литературе. Дело в нашей сущности. Мы – человеки. И ничего с этим не поделать.

Так что собрал я здесь эссе, смешные и грустные, вперемежку со стихами – в основном курьёзными, но иногда и серьёзными. Хочется и просто «пошалить глаголом»,

как будет сказано ниже. Хочется смеха – и смеха сквозь слёзы. Потому что хочется выплакаться. Обречься.

Но сперва давайте всё-таки просто подурачимся.

Года два назад гулял я с другом у Исаакиевского собора. Подвалил к нам африканец в наряде «арапа Петра Великого» и предложил сфотографироваться с ним... за сто рублей. Я, понятно, сразу сказал, что сто – мало, ему это будет стоить как минимум двести. Вот что сочинилось:

*Сюжет, к сожалению, не свеж и не нов.
Когда б я был негром преклонных годов,
Я был бы на эту работу готов.
И был бы для этой работы пригоден.
И в день зашибал бы по несколько сотен.*

А эпитафия подошёл бы и к «Дорожной Элегии»:

*То, что склепали мы сообща,
пусть кое-как, не трепеща,
я посвящаю М.Щ.,
как и себе самому:
нашим талантам дивясь и уму.
Нам: неприкаянным, неповторимым.
Нежно любимым.*

Между прочим, к «М.Щ.» есть гениальные рифмы. Например: моща; хранилища (а вот о борще – ни слова). Но придумал их не я и как *честный малый* и пользоваться ими не буду. Хотя и обожаю шипящие. Ох, и намаялся же я – как поблагодарить за работу над коллажем? «Составитель(ница)»? – но составление подразумевает подбор фотографий, а не фотомонтаж. Мне предложили: «коллажистка». Как соблазнительно! Но увы... Вечно какие-то мелочи мешают: неточности, опечатки, изжога, заусенцы, занозы, неошкуренные перила... Или вот ещё, насчёт ТЭЦ. Меня пригласили на питерское празднование присуждения Кушнеру премии «Поэт» (от Чубайса... причём в Москве банкет был

практически сорван из-за перебоев с электричеством...). Полтора часа тоскливых речей. Единственная отрада – те десять минут, когда Кушнер читал стихи. Зато потом – долгожданная водочка и закуска (о, где мои 17 лет?! – бутербродики, бутербродики...). Я так скажу:

*Мне было кушнерно и скушно,
но полтора часа послушно
я слушал речи. Наконец
нам выкатили ящик водки.
То ль от хозяина Чукотки,
то ль от владельца ГЭС и ТЭЦ.*

За что досталось Абрамовичу, мне и самому не понятно.

А в Питере появился абсент. Классная вещь! Absinthe – полынь. «Как слово наше отзовется?» Теперь гадаю: а что же имел в виду Багрицкий, когда писал: «И горечь полыни на наших губах...»? У Ван Гога уж наверняка на губах была горечь вот именно что полыни.

О чем я говорю?.. Нет-нет, простите, просто хотелось как-то перебить настроение! Сменим тему. Вот какой шуточный опус я сочинил самому себе на сорокалетие, а посвятил своим друзьям и попутчикам:

Машевскому и Пурину, дружески

*Не выворачивая выи,
не повернёшь и головы.
Вступив в свои сороковые,
внезапно чувствуешь, увы:*

*главы-то вертится основа.
Но в профиль – вылитый Фальстаф.
Теперь волшебств взыскуешь снова,
лишь взоры веждами застлав.*

Мотыль и словесность

...Рука бойцов колоть устала...

М. Ю. Лермонтов

Каюсь: разглагольствуя о душе, я даже не упомянул, что одна задача перед писателем стоит всегда: расширение возможностей языка. А язык, как оглоблю, куда хочешь не повернёшь. Чтобы дать представление о масштабах бедствия, приведу один эпизод. В эссе «Волшебное чудо науки» я упоминаю, чем я кормил свою жабу. Невинная фраза: «Я покупал мотыль на Кондратьевском рынке». А как правильно: *мотыль* или *мотыля*? Порезвимся? Я наживил пять... мотылей. Я купил... кого?.. Как-как?.. Мешать ложкой в жестянке... мотыля? Большого такого, кредитого Мотыля?

Для въедливых разъясню. Согласно формальным правилам грамматики тут всё просто. И исключения специально для мотыля я нигде не нашёл. Слово «мотыль» стоит в винительном падеже: отвечает на вопрос «кого? что?» в зависимости от того, одушевлённый он или нет. Слово «личинки», скажем, изменяется как неодушевлённое. Как и любая еда – впрочем, не уверен, что жабья... Но мотыль как корм – существительное собирательное, неисчисляемое и неодушевлённое: винительный и именительный падежи совпадают. И «правильно» – «покупать *мотыль*» (ср.: *картофель*). Можно сказать «купил картофеля, выпил вина», но это усечённое от «купил *немного (или мешок) картофеля, выпил фужер (или три, четыре, эх... бутылки) вина*», тут – родительный падеж (и как же «меры без», как укажет нам ниже мудрый Пурин!). Но никто не скажет «покупал картофеля, пил вина». Плюс такая незадача: у слова «мотыль» множественное и единственное число совпадают. В банке же лежит *мотыль*, а не *мотыли*. И если почему-то вдруг мотыль в банке оказался одушевлённым (и, естественно, во множественном числе), то было бы *мотылей* (ср.: *королей*). Только в устойчивых выражениях типа «бить француза», «ловить на мотыля»

(как и на «червяка» – не на «червяков же»!) используется единственное число.

Однако русский язык действительно велик и могуч! Спросил я про «мотыль» у четырех литераторов, имеющих к тому же лингвистическое образование. И каждый ответил, что сказал бы «покупать мотыля». Замечу: никто не объяснил *почему!* Просто «так лучше звучит», «интуитивно» и т.п. Снимаю шляпу. Тогда и я согласен: «покупал мотыля». «Ля», и всё тут. И к чёрту правила! Их люди придумывали, это же не законы природы. Хорошие писатели – носители литературного языка. А правила можно поправить, или исключение включить.

Так что иногда даже хочется начать сочинять, как Лермонтов. Но увы... Переписка с моим корректором по поводу «мотыля» продолжалась две ночи без перерыва: одну в – Америке, другую – в России. По электронной почте. Возможностей прозы не хватило. Из прозаической части привожу только фрагменты, стихи – полностью. В угловых скобках – «темы сообщений». Поехали!

Д. Б. Я покупал «мотыля»? Почему?

А. Л. Потому что здесь винительный падеж, а не именительный!

Д. Б. Не понимаю!.. Что же: «Я покупал картофеля»?

А. Л. <перекур> Картофель в винительном падеже так и будет картофель. А мотыль в винительном – мотыля!

Д. Б. Тут проблема в том, что ты считаешь мотыль одушевлённым. А любая еда – грамматически неодушевлённое (Розенталь, 1978 г., стр. 187).

А. Л. <мотыль-картофель> Димка, я эту гадость как не жрал, так жрать и не буду.

Д. Б. Ну объясни мне, старому дураку, почему «что? – мотыля». Почему?

А. Л. <кино-метро> «Ля», бля, и всё тут.

МОТЫЛЬ

*Не жрал я сроду мотыля
(не все, что движется, съедобно).
Но он одушевлённый, бля! –
Словарно. Изложил подробно.*

Д. Б. Из Розенталя: «Возможны варианты: изучать бактерии – изучать бактерий... то же в отношении слов личинки [ДБ: мотыль – личинка!] и некоторых других. Первые формы (по типу существительных неодушевлённых) употребляются в общелитературном языке...»

МОТЫЛЬ И КРИЛЬ

*Ты покупаешь мотыля?
Тогда ответь, забавы для:
ты покупаешь **одного**?
И есть не будешь ты **его**?
Когда б он был в числе зверей,
ты покупал бы «мотылей».
Но «он» – как просо, как вода.
Да просто жабья он еда.
Такая, братец, ерунда.
Еще добавлю, диспут для:
ловить – как раз на мотыля.
Спроси любого сопляка:
«На что ловил?» – «На червяка».
А вовсе не на «червяков».
И тут уж не до пустяков:
ты выбираешь одного,
берёшь безжалостно его
и наживляешь на крючок.
Он в этой роли – червячок.
А сеткой ловишь ты мотыль,
планктон и всякий прочий криль.
В жестянку льёшь его, как грязь.
И там лежит он, шевелясь.*

А. Л. <я убил один комар, а потом еще несколько комары>

*Согласен. Покупать на рынке
Вполне естественно «личинки»,
Поскольку – вроде овощей.
Вещей. Ну, то есть – вообще.
Но вот «личинки комаров»
Не купишь ты за будь здоров:
Приобретёшь – рыбалки для –
Ты, несомненно, «мотыля».*

*Теперь представь. Они живые
(хотя, конечно, наживные)!
Конкретные. (О том словарь
Нам и твердит – сейчас и встарь.)
Ведь ты не купишь «комары»
Или «комар», залив шары!
Есть звери: выхухоль и тля.
Они – навроде мотыля.*

*Ты ловишь рыбу на «него»,
А не на «он». Ты своего
Жабёнка чем кормил, деля
На части горстку мотыля?
Давал ему «мотыль», «комар»?
О, грамматический кошмар!
Конечно, «мотыля». Ну где ж
Тут именительный падеж?*

Д. Б. <без весла и без ветрил>

МОТЫЛЬ И ТЛЯ

*Ну, получилась, брат, сопля!
А для рыбалки точно, бля,
на рынке я куплю мотыль.
Я положу лещей на гриль
и крепко выпью опосля.*

*Куда словесность занесла!
И нет ветрил, и нет весла.
И множественного числа
у мотыля, заметим, нет.
И ровно в этом мой ответ.*

*А ты, к грамматике суров,
сначала давишь комаров,
ну а потом, конечно, «тлей»?
О кто-нибудь, приди, пролей
прозрачный свет на эту муть:
от падежей нам не уснуть.
Так это старость, говорю,
за книгою встречать зарю.*

А. Л. <всё врут календари>

*Жить стало, Димка, веселей.
Ведь покупал ты – «мотылЕЙ».*

Из толково-словообразовательного словаря: мотыль... красная личинка комара-звонца... винительный падеж множественного числа: мотылей.

*«Открылась бездна, звезд полна», –
Сказал поэт. Но вот те на!
«Кишит червями». До хрена!*

*Как быть, по-русски говоря?
Ведь в нашей бездне словаря
Мы тонем, тратя время зря.*

*Там столько тли! Иль, может, тлей?
От мотыля, от мотылей
Спасенья нет. Ещё налей.*

А про «тлю» в словаре ещё смешнее, – уже сил нет ни выписывать, ни ржать. Пойду полежу.

Д. Б. <выхухоль и выпь> Пойду поем. Креветки... Но крупные. Тогда «крупных креветок»? Нет, уж лучше пойду выпью.

Выхухоль и выпь

*Я, Сашка, так тебе скажу:
 пусть каждому по падежу
 раздаст Господь. А мне – в запой.
 Мне колыбельную напой:
 про мотыля, про мотылей
 и про владычицу полей,
 про эту, как её?.. – про тлю.
 Я слов подобных не терплю!
 Спасибо, «выхухоль» пока
 мы не склоняем. За зверька
 я рад. Я рад за птицу «выпь»...
 Я выпью, выпью! – ты не съешь
 мне соль... ещё подлеи вина.
 Червей и вправду до хрена.
 Но вот опарышей в пустыне
 не находил никто поныне.*

Энтузиастам, поэтам и прочим алкоголикам советую теперь просклонять «выпь» во множественном числе.

А с опарышами дело было так. Ужинали мы неплохой компанией у меня на даче. И противный мальчишка приволок прямо к столу жестянку с опарышами. А Пурин читал «Роттердам». По памяти. А ужинали мы, конечно, с вином. И на строке «Ты не найдёшь оазиса в пустыне» он запнулся... и выдал «опарыша в пустыне». На диктофон записано...

Так что переправил я нашу переписку Пурину. Просто так: посмешить. И вот что получил в ответ.

А. П. <re: опарыши> Какая всё-таки мерзость – этот мотыль! Затягивает, как болото.

Диме и Саше

Как порешили с мотылём?..
 Не в том ли финт, что всё, что пьём,
 и всё, что жрём, имеет вес,
 объём – а как же меры без?
 Ты скажешь: «Выпил я вино». –
 Неужто всё?! Да ты – говно!
 А скажешь: «Выпил я вина». –
 И мне душа твоя ясна.
 Или вот так: «Я рыбу съел». –
 Одну? Всю в море? Где предел?
 «Поел я рыбы». – Бог с тобой.
 (Не важно – дохлой ли, живой.)
 И даже ближе: «Выпил чай. (?)
 Купил картошку (?) ... невзначай»...
 Есть, правда, дыня, торт, бутылка,
 костыль, мотель... Но не мотыль!..
 А почему, а почему –
 я не пойму, я не пойму...
 И своего вы мотыля
 обратно забирайте, бля!

Д. Б. Я Пурину ответил так: «Как порешили?» – Да никак! Но Пурин не успокоился. И написал басню:

Басня

На электронном сеновале
 всю ночь два мальчика играли
 с багровой банкой мотыля –
 времяпрепровождения для.
 И так мотыль разворошили,
 разворошили мотыля,
 что черви гнусные ожили –
 и окрылились, скуля.
 И вдоволь кровушки попили!
 Мораль: особенно вдвоём
 играть опасно с мотылём.

V. Nabokov: «Twang. A good night for mothing».

В альбом

И вот ещё стихотворение прямо в письме – как муха в янтаре. За него меня на свидание, увы, не позовут. И печальнее «увы» – не бывает. Ну и зачем я стараюсь?..

«Дорогая!

Попалась мне недавно твоя фотография, и какая! Ты! – в зале Екатерининского дворца (о люстры!), в блузке, сшитой из сети для ловли по крайней мере акул, чёрный бюстгальтер размера один, тёмный загадочный взор поверх голов. Просто ох. Сижу... мечтаю.

Вдохновение, однако, не совсем пропало даром, ибо сочинил я нижеследующий шедевр:

*...Не диво,
Что в награду мне за такие речи
Своих ног никто не кладёт на плечи.
И. Бродский*

*Загадочность подобна многоточью.
Нужны ли песни роце и ручью?
Кто не видал таких очей воочью,
тот не оплачет девственность ничью.*

*Скрипит песок в моих часах песочных.
Зачем мне снятся кожаные bra?
Спроси ещё, зачем среди порочных
гетер я пью шампанское с утра?*

*Прости-прощай, подружка-чистоплюйка.
Балтийский бриз, в такую грудку вдуй-ка
ты воздух тот, что выдыхал Рогожин.
Он неприличен, вреден, неположен.*

Обымаю,
Дима»

Любопытство

Пришло время рыдать.

Спросите, какую эмоцию переживаю сильнее всего. Любопытство! Например. Ездил позавчера на дачу в Горьковскую. Там ещё то ли Маяковский в жилетку Горькому прослезился, то ли наоборот. По-фински называлось, кажется, «Мустомяки Мох». Было бы самым чудесным местом на земле, пользуйся собака моих родителей зубной щёткой. Но сосны, что шумят надо мной, вот они – точно там.

Очень крепко выпил и убрёл. Говорят, хотели меня удержать, но центнер довольно проворного мяса поди останови. Не остановить *бредущего бизона!* Однако обратно пришёл сам, руки – в ссадинах и еловой смоле. А в остальном – хоть на выставку. Приехал в город – и захотелось принять ванну. Снял штаны – глядь, и ноги в еловой смоле, впору за скипидаром бежать! И никогда ведь не узнаю, с какой ёлки без штанов свалился – а я ещё и высоты боюсь! *Ни-ко-гда.* Но как любопытно!..

В школе я ходил в математический кружок. В той «параллели» – уникальный по «силе». Было нас там человек семь. И один умер лет пять назад. Мгновенно: от обширного инсульта. Самый талантливый. Рыжий. Он ещё зубных врачей боялся до обморока. Не то чтобы я с ним так уж «дружил» – но общались, конечно. Очень я ему симпатизировал. Его смерть меня напугала. Нет-нет, выпивать я не бросил, но со страху написал сихотворение с такой строчкой: «Обидно в преддверье столетья чудес умереть». Действительно, очень обидно.

И теперь вот я гадаю: а что же будет с человечеством лет через двести?.. есть ли душа?.. и вообще: что же *такое* – этот мир? Никогда ведь не узнаю! Уууууу!

Джек Лондон и китайцы

Однажды мне захотелось стать эрудитом. Но, слава богу, я вовремя познакомился с несколькими образованными людьми из других культур: американцами, европейцами, китайцами. И немедленно отказался от нелепой затеи. То, что казалось эрудицией в маленьком пыльном Ленинграде 85-го года, оказалось микроскопической частицей мировой культуры. Из знакомых мне американцев, с которыми я об этом говорил – людей университетских и начитанных, между прочим, – мало кто читал Джека Лондона. А нам что переводили, то мы и читали.

Нас объединяют именно школьные уроки русской литературы. Буквально с первого класса («Русская речь») и до десятого. Мы все читали одно и то же. В Америке этого вовсе нет. Я недавно догадался, что их объединяет: кинематограф и телевизор. Цитаты из фильмов – лучший мостик к сердцу американца.

Впрочем, мой хороший американский приятель сознался мне, что не читал Селинджера, ибо им насильно пичкали в школе, но из протеста прочёл почти всего Достоевского. И считал весь этот кошмар ненаучной фантастикой из области человеческих отношений... пока не женился на русской аспирантке.

А что делать с китайской поэзией? В лучшие свои годы китайские юноши учат наизусть четыре великие книги. И школьная дружба, и позорная краска на лице от случайного соприкосновения рук, и взросление – всё связано с этими книгами. Вся поэзия – лишь аллюзии на них. А нам-то как её читать? – «Русская речь» ни при чём. И каждый иероглиф свой тон имеет: песенки, да?

Но более всего мне жаль, что вымирают инженеры. В СССР их было раз в двадцать больше, чем в Штатах. За-чем? Чудеса техники? Зато какие были читатели!

Про женщин

Здесь я хотел рассказать про жгучее любопытство, связанное с женщинами. Двадцать лет придумывал слова, а вот записать не решился. Струсил. Сдрейфил! Но, может быть, когда-нибудь... А пока это эссе совсем коротенькое. Ууууууу!

Люди и числа

Разум и творчество – несомненно, самое опасное, с чем до сих пор приходилось сталкиваться человечеству. Но при этом даже удивительно, насколько мы неразумны. Я собираюсь задать простой вопрос, который оставлю без ответа: бывают вопросы, на которые невозможно ответить. Часто это «характеризует» сам вопрос; но в данном случае – нас, людей.

Вот такая вымышленная ситуация. Боинги редко, но падают. Скажем, раз в год. Пара сотен жертв. Допустим, выявили, что причина – некий серьёзный конструктивный недостаток. Комиссии заседали, юристы суетились. Компания убытки несёт, её в суд «таскают». Надо «исправлять» все самолёты. Да новые построить, – может быть, дешевле будет! Миллиарды долларов! И вот «Боинг» предлагает (напоминаю, сюжет фантастический: не хочу, чтобы меня, наоборот, по судам затаскали!): давайте мы половину этой суммы пожертвуем на медицину. Самолёты будут летать те же самые: с дефектом. И один в год будет падать. Люди будут гибнуть. Человек двести. Но деньги наши спасут тысяч двадцать в год – не меньше! Таких же людей...

Случись такое (в Америке) – никогда бы не разрешили компании «откупиться» и дальше использовать «опасные» самолёты, – хотя за «откуп» можно было бы спасти в десятки раз больше людей. Отказали бы, убивая этим решением 19800 человек в год. В Калифорнии наконец казнили чернокожего писателя, всего-то заре-

завшего человека лет двадцать назад, – а Буш убил тысячи одним veto на исследования по выращиванию органов! Но «убитые» – не «конкретные» люди, а «статистические». И что до них нашей морали, нашей жалости, нашему сочувствию, которые воспитаны только на личном опыте – нашем и наших предков. Почему числительное «миллион» легко найти в словаре, – но находишь только *пустое* слово: слово, за которым ничего нет? *Миллион человек* – это уже как «мотыль»: неодушевлённая, неисчислимая, утратившая всякие признаки индивидуальности абстрактная субстанция. Мораль тут бессильна. 20000 жертв или 20500? Округлить! Разница – пятьсот жизней! – впечатляет куда меньше, чем *подробности* одной жестокости. Бездушные полицейские застрелили собачку, и маленькая девочка теперь всё время плачет... А плюшевый медвежонок, которого «при обыске смяли сапогами»? Я бы такого никогда не простил!

Разум помогает отвечать на вопрос «как». (Мудрость, между прочим, помогает не задавать этот вопрос!) А вот вопрос «зачем» – и вовсе смысла не имеет. Отвечать-то можно – но ответы куда хуже вопросов! – потому что «защиты» (используя сленг программистов) в нашем мозге. Запрещённые вопросы. А *зачем* нам надо, чтобы жизнь продолжалась *после нас*? Нет никакого резона. Просто так запрограммирован мозг. И всё тут.

Например, генотип самца, оплодотворившего много самок, имеет куда больший шанс в игре «Эволюция». Почему я расплачиваюсь за сладкие сны обезьяны? Не надо ругать неверных мужей! – они не виноваты, грешили многочисленные пра-пра-пра... дедушки, питекантропы и прочая древняя живность. А самке, наоборот, очень «криво», если самец озабочен не только её потомством. Отсюда – ревность. Да и самцу свой генотип передавать надо, и тут ничего хуже нет, чем если его самку другой оплодотворит. Но, кажется, моногамия побеждает в современном обществе? Победа «морали» над «ценностями эволюции»? Так ли? О чём же тогда больше половины всей литературы?

Нежность

Как я уже упоминал, эта книга продолжает «Чужое столетие». Я поборол соблазн перетащить оттуда полтора десятка самых дорогих мне стихотворений, которые здесь бы вполне прижились. Многим они были бы даже ближе элегичностью и сентиментальностью – вместо интонационной перегруженности. Да ну, ещё чего! – достаньте и прочитайте, да? Но «Аэропорт», последнее стихотворение «Чужого столетия», по праву принадлежит этой книге. С него ей надо бы начинаться. Мне не хотелось сразу шокировать читателя, а вот добравшийся до этих строк поймёт: оно – о нежности. Не о детской нежности к чему-то пушистому и тёплому – о нежности взрослой, мучительной и беспощадной, выросшей из боли и грязи длинной жизни, из дрязг, неприятия, соблазна, предательства, нелюбви. Один великий поэт в частном письме возмущался моей строчкой «в тесноте простыней ли возились они, потели». Это я о Пушкине так! Он же – наше «всё»! Так вот он-то, думаю, за *это* меня ругать не стал бы. Потому что бывают плохие стихи, но нет запретных тем. Потому что без этой «возни в постели», без каких-то постыдных и нелепых подробностей не было бы и гениальных поэм Пушкина – чело-века задёрганного, едва ли адекватного, раздраемого вовсе не «высокими» соблазнами. Надо ли напоминать: «...из какого сора...»? Не надо?

Аэропорт

Передай генотип и умри.
Вот и всё. Только это...

Юрий Колкер

Помнишь Люську? (Я пью с утра, вот и чушь несу.)
Как-то раз пацаны подловили её в лесу –
и держали так, что и дёрнуться не могла.
Пахло ветром и вереском; пела, трудясь, пчела.

Было коже до дрожи странно касанье мха,
и гортань была совершенно нема, суха.
И сначала один лишь слегка ей сжимал сосок,
сам от страха взопрел и, бедняга, дышать не мог.

Но затем её раздвинули ноги – да так, что ох! –
во всю ширь развели, ну и как тут удержишь вздох.
Сердце билось внизу живота, и горела грудь.
Ну а дальше ты сам уж додумашь что-нибудь.

Ты прости, мой дружок: я дразнюсь. Понимаешь ли...
Ты же знаешь, зачем мы с тобой в этот мир пришли.
Был я робким очкариком, верным своей жене.
Но потом возмужал, и теперь уже даже не

считаю, во сколько же влажных и жарких лон
своё впрыскивал семя. Как страшен и как смешон
этот сон: протоплазмой запачканный шар... Не ной!
Ты почти настоящий, вот только что заводной.

Что сказать мне о жизни? Возня, мой малыш, возня.
Не Париж же мне снится, огнями меня маня?
Вот кому-то, к примеру, достался удел врача,
и живёт, молоточком в коленки стуча, стуча.

Слышал я: кто-то скачет и мчится сквозь хлад в ночи.
Кто-то бьётся в постели: «Забудься, шепчи, кричи».
Вроде начали в Чили добычу цветной руды?
Наплевать, замочили ли мэра Караганды!

Я сижу с недосыпа весь белый, как писсуар.
Жду, когда ж мой объявят рейс, пью Pinot Noir.
Может, мой самолёт разобьётся. Скорее – нет.
Если Люську вдруг встретишь, ты ей передай привет.

Самолётик мой будет на взлёте качаться над
ржавым полем с узором запутанных автострад.
Мой игрушечный дом под крылом проплывёт, дрожа.
И мучительной нежностью будет полна душа.

Две пуговицы

У меня был плюшевый медведь. Не в детстве, нет – совсем недавно. Никому не позволю смеяться! К сожалению, сейчас медведь живёт не со мной: так женщины, расставаясь с нами, забирают и детей.

Я ведь прекрасно знал, что внутри у медведя – вата, а глаза, которыми он на меня так внимательно и умильно смотрел, ничего не видят: они сделаны из пуговиц.

Но, может быть, загорись мой дом, я бы бросился спасать не документы, а эту тряпочку, набитую ватой, с двумя пришитыми пуговицами. Потому что мы обладаем чудовищной способностью одушевлять. Язычество какое-то! И не только вещи. Людей. Особенно тех, кого любим. Я беседую с отражениями в моём сознании. Это очень важно. Мы ведь говорим с теми, кого уже нет, когда приходим на кладбище, да? Да и не только. Я живу в мире воображаемых душ. Так чем же тогда мой медвежонок хуже?

Стыдно ли сорокадвухлетнему мужчине, отнюдь не наивному и весьма жёсткому «по жизни», поместить в книжку портрет своего игрушечного медведя? Ничего не побоюсь: вот он.



Вместо посвящения

Недавно мой друг (замечательный поэт, между прочим) высказался в письме – а электронная почта плюс повальная эмиграция возродили эпистолярный жанр, – что «Колыбельная для дочки» выиграла бы от «примечаний домашнего свойства». Попросил «поколдовать над ней ещё». И добавил, что еврея уместнее сравнивать с Давидом, а не с Бонапартом. Волшебную палочку я забросил на антресоль. Ну а примечания – вот они.

Я укладываю свою дочку спать. Бормочу что-то про себя, так строфы на две, а потом рассказываю грустную сказку про немолодого человека, умирающего в больнице в Хайфе, и про девушку, в него влюблённую. Конечно, когда дочка окончательно засыпает, я так и продолжаю говорить сам с собой. А ещё на веранду умудряется прискакать жабёнок. И сразу становится очевидно, что это – наша дача в уже упоминавшейся мной Горьковской, а не американский дом, – тем более что не под рыбьими же взглядами живших там, слава богу временно, тогда людей я бы сочинял колыбельную своему детёнышу?

Впрочем, сначала я пытаюсь поговорить с дочкой про игрушечного мишку. «Повзрослевший» ребёнок с презрением отвергает «детскую» тему, и продолжаю я этот разговор, когда она уже спит. Про ту же девушку, подурневшую лет через пятнадцать и плачущую над обгоревшей плюшевой игрушкой. Пожар случился, наверное, – но что-то удалось спасти. Я готов поспорить, что это – медвежонок! И вот это уже вовсе не детский разговор. Это – разговор про одушевление предмета любви, а значит – и про её сущность.

Надо ли объяснять, что умирающий еврей – фальшивый; как я – фальшивый американец. И вместо Талмуда лежали у него на тумбочке, наверное, те же Толстой и Достоевский. А ещё подумайте про «сто дней». Ну, от чего всё-таки не очень старый человек умирает, зная,

что до лета «не дотянет»? Предположим, от рака: ремиссии, надежды. Такой вот «Бонапарт».

При чем тут Хайфа? Я написал это стихотворение, вернувшись из Израиля. В квартале от моей гостиницы взорвали ресторан. И в том числе – большинство друзей человека, которому его невеста сюрприз сделала: пригласила их на его день рождения. Мне рассказали – я ведь даже фотографии его не видел. И взрыва не слышал: был в душе. Потом, да, были сирены. Но, не пригласи меня мой друг в тот вечер на ужин, да ещё и не выдай с собой бутылочку вина («чтобы было»), – может быть, я бы в этот ресторанчик и потащился: пропустить рюмочку перед сном. Но так не случилось. Я поужинал в хорошей компании; потом выпил свой «good night drink» в номере; и даже не испугался, потому что ничего не слышал: мылся. Такие дела.

Есть, есть и другие «домашние» подробности, угадать которые невозможно. Моя бабушка, которую дочка очень любила, умирала тогда в больнице. В этом всё и дело.

Случилось так, что у меня было три бабушки. Я сначала и не знал, кто – родные. Они были очень добрыми людьми. Одна – немножко сумасшедшей. Она рассказывала мне, как ей в детстве было жалко голеньких лягушат, и она шила им рубашки. А потом ей показалось, что валяющиеся бутылки ещё более голые, и она тоже мастерила им наряды. То были нелёгкие годы, и плюшевых медвежат у моих бабушек не было.

Я виноват перед своими бабушками. Хотя, живи я снова – наверное, и прожил бы так же, – а иначе это был бы не я. Увы. Памяти моих бабушек я и посвящаю эту книгу – хотя и сомневаюсь, что она бы им понравилась.

Волшебное чудо науки

А жаба жила у меня в террариуме восемь лет. Я покупал ей мотыля на Кондратьевском рынке. Кормил с палочки от эскимо. Жаба так обленилась, что просто разевала рот, и я туда вываливал порцию комариных личинок. Лет пять жаба просидела на одном камне. Я часто о ней вспоминал, когда захаживал в гости к огромной осьминожке в Вашингтонский зоопарк. Почти единственный экспонат, сердившийся на мои «рожи». Она краснела, надувалась. Недавно вот умерла... Но вернёмся лет на тридцать назад.

Тогда я приобрёл на том же рынке двух аксолотлей. Такие, знаете, огромные тритоны – ну, вроде как ящерицы с лягушачьей кожей – пусть только зоологи этого не читают! – живущие в воде. С кустистыми жабрами. И прочитал я в книжке, что аксолотль – не самостоятельный вид, а личинка. Неотеническая – которая размножаться может. Вроде половозрелого головастика, которому «не с руки» становится лягушкой. Но вот если давать аксолотлям гормон щитовидной железы, то они превратятся в саламандр!

Выклянчил я у бабушки моего друга рецепт на тиреоидин – гормон щитовидки. Таблетки были в оболочке, я их давил в ложке, выковыривал «начинку». Подмешивал в колбаски из мясного фарша: о, кто поставит памятник за долготерпение моим родителям? Дозировки прикинул на глаз. Попробовал две разные. Одна (или один?) из моих аксолотлей померла от зоба. Понятное дело. А вторая – превратилась! Правда, не в саламандру, а в пятнистую амбистому, – но вы их едва ли отличите. Жабры сбросила и выползла на сушу.

А я познакомился с волшебным чудом науки.

Любопытно, что знал про щитовидную железу Кортасар, когда писал свой рассказ «Аксолотль»?

Осьминог и шутки эволюции

Ну, кто наши предки? Пресмыкающиеся, земноводные, рыбы. А у осьминога – мидии да слизняки. Наш общий пращур был каким-то совсем древним и простым созданием. У осьминога даже рот получился в процессе эволюции там, где у нас совсем наоборот. Хотя, замечу, это осьминог называется «первичноротым», а уж мы, извините, – «вторично...». М-да.

Итак, эволюция, разветвившись в самом начале, поставила три эксперимента. Шарлатански говоря, организмы можно изготавливать со скелетом внутри (как у меня, например), снаружи (паучки всякие, раки там, мухи – да ну их), и вовсе без скелета. Какие же «шедевры» мы видим сегодня?

Один – это «мы»: человеки. Другой – организмы-колонии: термиты, например. Но о них мы ещё поговорим отдельно. А третий – осьминоги.

Многие миллионы лет природа создавала уникальные органы – наши глаза и мозги. Впору гордиться... природой. И, начав с каких-то комочков слизи, совершенно независимо изготовила их дважды: только зоолог отличит глаз осьминога от человеческого. Как такое возможно? Ууууу! А третий эксперимент привёл к фасеточному глазу насекомых: только слепой не увидит чудовищной разницы. Но у осьминога – и сетчатка и хрусталик и зрачок. И человеческую мимику может понимать – такая вот устрица... И орудиями пользуется. Наверное, поумнее собаки будет (хотя это тот же вечный вопрос: а как сравнивать?).

Миллионы веков наш род и осьминожий развивались почти независимо. И человек стал «царём природы» всего несколько тысячелетий назад. Крошечные доли процента. Может быть, опоздай мы самую малость – и не мы бы их в зоопарках рассматривали. Может быть.

Дети и водородная бомба

Может быть, моё самое трагическое стихотворение – «Серафим». И «ключи» там – Ходасевича (и пенсне подразумевается), и обезьянка – из мультфильма, а вот беда – моя, не придуманная, экзистенциальная, а самая что ни на есть взаправдашняя: лишний вес. Эволюция нас изготавливала, чтобы мы на мамонтов охотились и генотип передавали – и более ни для чего. Не рассчитаны мы на жизнь в отапливаемой квартире да ещё и с полным холодильником.

Мы – дети, игравшие в песочнице, и нашедшие мину. Мы – неандертальцы, которым подарили водородную бомбу. Бомба-то – настоящая, это вам не «глюк» в компьютерной игре наковырять. Мне – страшно. Потому что разум никак запланирован не был. И опаснее мины я не знаю. Тут поговорим про термитов.

Про термитник надо думать как про единый организм. Потому что нет такой задачи: выживание отдельного термита. Это как выживание одной клеточки вашей кожи. Да и бог с ней, лишь бы вы были здоровы! Заметим, что в организмах-колониях насекомые и дифференцированы почти так же, как наши клетки.

Но вот ведь незадача. Термитников-то – масса. Как и муравейников. А человечество – одно. И за последний век оно тоже превратилось в «термитник». Даже 50 лет тому я бы его скорее червяку уподобил: отрежешь половину – другая живёт. А теперь это – сложный организм, который и погибнуть может целиком. А тут ещё и ученые всяких *хищных вещей* понапридумывали.

Любой специалист по популяционной динамике вам скажет, что вид со слишком маленьким количеством особей выжить не может. Хотя бы из-за статистических флуктуаций. Не было «затерянного мира». А тут и вообще – особь-то всего одна... То-то я и беспокоюсь...

Защита Лужина

Как вы уже наверняка заметили, на протяжении всей книги меня мучает вопрос – а материальна ли природа души? То «да» скажу, то «нет». Попробуем вот как.

Набоков, сам блестящий шахматист, считал шахматы одной из вершин человеческого творчества. В них есть и вдохновение, и расчёт, и удача, и психология, и интуиция. Можно ли сочинять хорошие стихи, не имея души? А играть в шахматы? Для Набокова, рискну предположить, ответы были бы одинаковыми.

И вот человек создаёт машину. Нет, оговоримся: машину создаёт Человечество. Это такой новый творец – самый страшный конкурент человеческого творчества. Можно понять, как летал самолёт братьев Райт. И придумали его два человека. А как летает современный лайнер, не понимает никто. Он – изобретение многих тысяч людей. Никто не понимает, как работает современный компьютер. Один ведущий специалист фирмы Microsoft говорил мне, что даже «глюки» в Windows чинят обычно, как врач лечит психические расстройства – симптоматически, почти наугад и без уверенности, что именно получится. Потому что не человек придумывал эту систему, а новое, мало понятное нам мыслящее явление: многотысячный коллектив. А людей очень много – всего раза в три меньше, чем нейронов в коре мозга. Это – выход в другое измерение. Те чудеса технологии, которые мы видим сегодня, в принципе не достижимы индивидуальным мышлением. Было бы это выгодно экономически – и стихи писались бы огромными коллективами. Кинематограф – это еще «цветочки».

И вот сколько-то лет тому назад компьютер обыграл лучшего шахматиста мира. Быстродействие «машины» выросло на порядки, а человек что?.. Да Набокова бы шутя одолел ноутбук, на котором я сейчас печатаю.

Эксперименты над душой

Почему-то я думал, что подобрал эту идею в «Сумме технологий» Лема. Полистал – вроде нет. Но многим это эссе будет читать очень трудно. Вы уж постарайтесь!

Почти все учебники квантовой физики рассказывают, как из электронной пушки стреляют по фотопластинке через экран с двумя дырками. Через какую пролетел электрон? Если мы знаем ответ, то само это знание уже изменяет мир, и результат опыта действительно оказывается другим. Так что вопрос смысла не имеет!

Болтуны спрашивают: «А мыслит ли собака?». А потом ещё всерьёз спорят. Так спрашивать нельзя. Вот железное правило: ко всякому вопросу должен прилагаться – конечно, теоретический! – эксперимент. Как уточнение вопроса. Аристотель насчитал у мухи восемь ног – и на столетия всех запутал. А пересчитать-то – дело плёвое. Или сболтнул, что скорость падения пропорциональна весу предмета. И нет бы кому два разных булыжника с утёса сбросить... Века на это потребовались. А ведь тогда речь шла всего лишь о практически осуществимых опытах. Сейчас все очень запущено. И говорю я об экспериментах хотя бы просто «мыслимых». Итак, думает ли собака? А что это значит? То есть: как проверить? Хотя бы *в принципе*. Не знаете?

Значит, вопрос бессмысленный, и только дурак начнёт на него всерьёз отвечать. Заявляю как краевед.

Но я-то хочу выяснить, материальна ли душа! Дальнейшее обращено *лично к вам* – это очень важно.

Начнём издалека. Вам когда-нибудь делали операцию под общим наркозом? И о чём вы перед ней думали? Что почувствуете, когда очнётесь. Наверное, ожидали увидеть белый потолок реанимационной. Волновались, будет ли больно. Гофрированный шланг в горле вполне может помешать радоваться жизни.

Теперь ставим эксперимент. Чисто умозрительный – это вам не ножки мухе пересчитывать.

Вам дают наркоз. А потом изготавливают две идентичные копии вашего тела. Оригинал уничтожают. Копии, конечно, тоже под наркозом, – и их везут и приводят в сознание: одну – на Северном полюсе, другую – в субтропиках. Итак! Что *вы* ожидаете увидеть: снега или пальмы?

Выходит, душа не материальна? Тут вот такая закавыка. Если с точки зрения сэра Исаака Ньютона (или Декарта, или даже Эйнштейна!) «в принципе» изготовить две одинаковые копии вашего организма возможно, то квантовой физике это просто противоречит. Некий «принцип неопределённости» мешает. И, таким образом, наш мысленный эксперимент идёт против «законов природы» – а значит, псу под хвост. Но не может же зависеть существование души от такого пустяка, как постулат Гейзенберга!

А физики, наивные люди, набрали сейчас на теорию «суперструн» и уже в который раз думают, что вот-вот поймут, как устроен мир. Ха! А пока они мечтают, хотите хорошую новость? Не поверите: надежда на бессмертие. Нет, кроме шуток.

Один из способов описания квантовой вселенной – вполне осмысленная модель, в которой все возможности реализуются. Образуются разные миры и даже взаимодействуют. Просто наблюдатель – человек, вы, дорогой мой читатель, зашедший в чтении столь далеко! – обнаруживает себя в случайной реализации. Тогда, если есть хоть какая-то вероятность исхода, при котором вы живы, для вас он окажется реальностью! Это как если бы одну из тех копий уничтожили – будто и не делали её вовсе... Но сознаюсь: это всё-таки скорее шутка.

Павлины

Давайте поговорим о павлинах. Вы знаете, для чего павлину хвост? Мне, кстати, даже не вспомнить, сам я это придумал или мне кто рассказал. Наверное, второе.

Это совершенно не важно. Главное – не придумать, а упомянуть «к месту». Речь ведь тоже состоит из слов, изобретённых не нами (если только мы – не «хлебниковы»). Остаётся только эти слова расставить в удачном порядке. Нелепее занятия не бывает, да? Ну и зачем мне эти бессонные ночи?

Я попытаюсь что-то объяснить в «Ускорителе мышления». Но дело не только в наркомании – не физиологической, нет! – интеллектуальной. Вспомните: Шерлок Холмс начинал «колоться», когда его мозг вынужден был простаивать. Что ужаснее скуки! Какой Босх, какой Дант это изобразит?! Но и это ещё не всё.

Сейчас в Пенсильвании удивительная осень: прозрачная, прохладная, но не беззвучная. Она наполнена птичьим гамом; «цыканьем» белок и бурундуков, собирающих запасы на зиму; чавканьем сурков и стрёкотом случайных вертолётчиков. Кто, кроме меня, об этом скажет? Но мы вернёмся к павлинам.

Итак, распускает павлин хвост и поворачивается к павлинихе задом. А она – та же курица, ей любопытно: а что там за хвостом. А за хвостом-то самого павлина вовсе не видать! И бежит павлиниха вокруг, а павлин делает полтора шажка, и снова – только хвост. И такой «вальс» – целый час. А вот когда вспотевшая павлиниха падает без сил на землю, павлин свой хвост спокойно складывает – и бесстыдно пользуется её усталостью.

Павлины, говоришь?.. А я-то хотел порассуждать о назначении поэзии.

Ускоритель мышления

Попытаюсь предложить вольный перевод последнего абзаца Нобелевской речи Бродского.

Вы пробовали перемножать в уме многозначные числа? Аутичный герой Дастина Хофмана в «Человеке дождя», как и некоторые его реальные прототипы, делает это шутя. Хотите научиться? Флаг вам в руки. Я не знаю как. Однако наш мозг, обрабатывая зрительную информацию, проделывает в тысячи раз больше вычислений ежесекундно. Просто умножение больших чисел – действие противоестественное, эволюция этим совершенно не интересовалась (это я опять про мамонтов).

А вы заметили, что чем строже форма стихотворения, тем обычно меньше в нём халтуры? Скажем, великих белых стихов в русской поэзии ... раз, два, три... у Блока еще – целых два!.. у Сельвинского... и ещё вот... и «обчёлся». Хотя, казалось бы: человек же высказать что-то пытается, и ограничения формы должны только мешать?

Может быть, многократные и упорные попытки решить задачу настолько хитрую, что никакой сознательный «перебор» слов уже не спасает, иногда и включают «подсознание»? – ту чудовищную силу, о которой мы мало что знаем. Вот такой ускоритель. Но и наркотик.

А может быть... Вот стоит человек перед бетонной стеной. И вдруг оказывается по другую сторону. Вы такого не видели? Думаете, я спятил?

С точки зрения современной физики – нет проблем. Точное положение человека ведь – дело вероятностное. И – с некоторой вероятностью – он уже по другую сторону стены. Ну и шагай дальше. Просто вероятность очень маленькая. Потому что человек – большой.

А вот для элементарной частицы эта вероятность вполне реальна. На этом принципе работает туннельный диод... Вроде и не позволяет закон сохранения энергии проскочить частице сквозь энергетический барьер... А она иногда проскакивает.

Но человек... может быть, тоже?... иногда? Скажем, тот же Бродский? Толстой? Пушкин?

Я никогда в жизни Бродского не видел и с ним не разговаривал. Я чувствовал, что «не дорос». А лет ему было не так уж и много. Бродский-то ничего не знал про то, что я пытаюсь вырасти в интересного для него собеседника... Просто взял и умер.

Я купил самого плохого бренди – стыдно в такой день получать удовольствие от коньячка. И пил, пока не свалился в кухне на пол.

«Объяснение в любви» написано минут за десять. Года три назад шёл я в свою очередную (съёмную, конечно) квартиру в Питере. В том же подъезде, кстати, где живёт Кушнер, – только тремя этажами ниже. Там замок еще все время обмерзал и залипал. Январь. Кошмарный мороз. Губы склеиваются, надо что-то проговаривать. Вот и «наговорил». Стихотворение местами грубое, даже brutальное. Но мне кажется, Бродского бы сюсюканье скорее оскорбило. Как он Соломону Волкову ответил на вопрос о сексуальной жизни в Норенской: «Ну, руки, конечно, шли в ход». «Великое» и «низкое» не только соседствуют – они невозможны друг без друга. Интересно, принял бы Бродский мою прямоту?

Не знаю. И никогда не узнаю. Его смерть была для меня личной трагедией; но пил я в тот день по-страшному не потому, что умер близкий человек. Да не знал я его вообще! Пил потому, что ничего спросить уже никогда не получится.

Железнодорожная улица

Из зеркала на меня глядит небритый мужчина средних лет. Неточно: бритый, но уже недели две тому. Я использую простейшую машинку для стрижки. Огромная экономия времени и средств! И куда только они, спасённые, деваются? Злоупотребление горячительными напитками, попытки много думать и путаница в личной жизни оставляют отпечатки на лице. Морщины на лбу могут и польстить самолюбию, а их отсутствие порой свидетельствует не о поверхностности ума, а об опухании от пьянства. Или о больных почках. Видите: задумав поговорить о вещах, с которыми я мог бы быть знаком профессионально – но никто, ручаюсь, их (пока?) *так* не знает! – я специально сбиваюсь на «трёп». Скажите так: «на литературицу».

Меня беспокоят границы познания. Ох, и верно няня говаривала: «Гондурас беспокоит? Дак ты его не чеши!»! Вопрос о том, действительно ли *существуют* «законы природы», или разум, зародившись из хаоса и как-то адаптировавшись к нему, сам *создал* понятие закономерностей, – увольте, это мне не по зубам. Нижеследующее, увы, тоже – но поболтаем, да? И пусть одни кривые улочки да тёмные тупички – везде жизнь.

Метаморфозы человечества... Пара столетий – и наукоёмкие технологии изменили мир. Но может быть, как раз сейчас мы опять на пороге иной эры? Читать неприятно? «Не по-человечески как-то?». Боюсь, именно это и придётся принести ей в жертву.

Начнём с банальности. Вся дедукция-индукция (а лишь в индукции мы и обогнали эллинов), все успехи ума – связочки между *причиной* и *следствием*. Ничем иным разум и не занимается. Вот только *что* мы готовы считать причиной? – хоть со следствием *пока* проще...

О горячее школьное детство! Как много всего необходимо было узнать! Почему «три стула», но «пять

стульев»? Уф, добудь-ка огонь трением! – бедные наши предки... Как, и вправду рвануло?! А уж про соседку по парте и не говорю. Какая там химия... Но не забыл.

Все «наши» законы природы связывают небольшое количество «параметров»: температуру и давление, прибавочную стоимость, падеж и окончание, pH среды, «сахар в крови»... Врач, ставя диагноз самому сложному изо всех известных нам объектов (даром что порой тот – «ещё тот субъект»), смотрит на десяток-другой показателей. Да ну: код ДНК прочитали? Во-первых, врут. Во-вторых... «Угадал все буквы, не угадал ни одного слова». А в-третьих... А кто прочитал? Назовите имя, фамилию, отчество! Чтобы «прочитать» этот код, называя по символу в секунду, *человеку* и десятка жизней не хватит! Вы лично читали? Кстати, а *чей* код?

Температуру меряем? Конечно, есть крайности: сварили человека – он и помер. Не сварили – беда: температура у каждой клетки – своя. А человек просто взял и умер. Куда удивительнее, что жил! Биография миллиардов молекул, которую нельзя свести ни к тысяче факторов, ни к миллиону. Кто соврал, что можно? Под фонарём ищем! И там, конечно, не всё разглядели... Но человеку-то не «отойти от фонаря». Никогда не сможет наш мозг оперировать конкретной информацией о миллиарде клеток. Пусть компьютер погоду предсказывает: у него голова большая, как у лошади. Так и он не справляется: у его фонаря круг лишь чуть *поширше*. А может быть, не хлопни баба Дуня форточкой в 25-ом, шёл бы вчера в Лондоне дождь. Мы, кстати, отлично погуляли! И никаких «почему»: хаос, огромные цепочки пустых событий. Кажется: физики, расчлняя материю, лезут уже в не-обозримый ничейный «ассемблер» огромной бессмысленной игрушки. Да научитесь хоть «глючащие окна» чинить! Я – завидую эллинам. *Я цельный, как репка – хочу обратно в рай!*

Моя одноклассница умерла лет десять назад. Где искать причины: в школьном дворе на Савушкина, в пыльных тополях? Какой случайности не хватило, фразы, вздоха?

Двадцать квартир

За последние пятнадцать лет мне довелось жить более чем в двадцати квартирах. Были какие-то остановки недели на две в полугостиничных условиях; например, в Вене – в гостинице «Кайзер Франц Иосиф»; в мартовском Тель-Авиве – так я больше нигде не мёрз; под Брюсселем – в городке, с названием которого мой язык так и не справился, и столь крошечном, что он легко поместился бы на Дворцовой площади, – их я даже и не «засчитываю».

Попробую вспомнить. Два дома и четыре квартиры в Америке. Три во Франции. По одной в Германии, Англии и Швейцарии. И в Ленинграде-Петербурге – на Пестеля, где родились мои дети, на Гражданке, на Охте. А потом – по два раза в год – съёмная квартира. Полтора месяца зимой, и четыре – летом. Поболее двадцати наберётся...

И в каждой квартире приходится обустроиваться. Привыкать к новым выщербинкам на лестнице, к незнакомой на ощупь дверной ручке, к очередному заедающему замку. Ворочаться до пяти, засыпая на непривычной постели. Плутать ночью по коридору в поисках сортира. Выяснять, где же ближайший лабаз. И учиться любить вид из окна. Любить так, чтобы казалось, что именно это я видел во дворе в детстве. Я этому научился.

О чём я говорю? Это может показаться нелогичным, но я сравниваю возникшее от смешавшейся в моей памяти череды квартир жизнеощущение с миром узника, наблюдающего много лет одну и ту же трещинку на потолке – с одной и той же продавленной кровати. Что в этой трещинке можно найти?.. Та же слепота души. Две крайности слились для меня в одно. Почему? Словами этого не объяснить. Это можно только *почувствовать*.

А можно ли жить иначе? Может быть.

Время могло остановиться, и прожил бы я всю жизнь на втором этаже блочного дома на Гражданке. Стоял бы в очередях за мороженым мясом. «Доставал» бы втридорога любимые книги. Ничего особенно антисоветского в них, кстати, не было, и из-за чего такой сыр-бор, непонятно. Даже подростковый роман «Доктор Живаго» – ну, какая в нём к чёрту крамола? Зато продолжал бы считать, что в кино верх эротической смелости – промелькнувшая в глубине кадра обнажённая спина героини.

Мотался бы на Васильевский в свой родной институт информатики – из-за скверных отношений с властями в «Стекловку» меня не взяли: начальство струсило. Получал бы выговоры по комсомольской линии. Ходил бы на демонстрации и субботники. Ездил бы осенью в колхоз. Знаете, что говаривал в те времена мой завлаб, замечательной, между прочим, души человек? «Если придется увольнять, то последними я уволю секретаршу и Бураго. Секретаршу – потому что она единственная работает. А Бураго – за то, как он морковку пропальвает». Ох, как я её пропальывал! – да ещё и с прицелом, чтобы потом легче было убирать с тех же подшефных грядок: драл сорняки вместе с половиной самой морковки. Потому что при уборке зачёт шёл по количеству грядок, а не ящиков урожая.

А ещё до сих пор ходил бы в водные походы. И болтал бы на шестиметровой кухне с приятелями о литературе, науке и вообще обо всём на свете; и ругал бы, конечно шёпотом, советскую власть; и запивали бы мы эти бесконечные беседы портвейном «Три семёрки», а иногда, если повезёт, и вином, – скажем, Ркацители.

Вот такую жизнь я мог бы прожить. Но не довелось. Потому что время – не остановилось.

Просьба

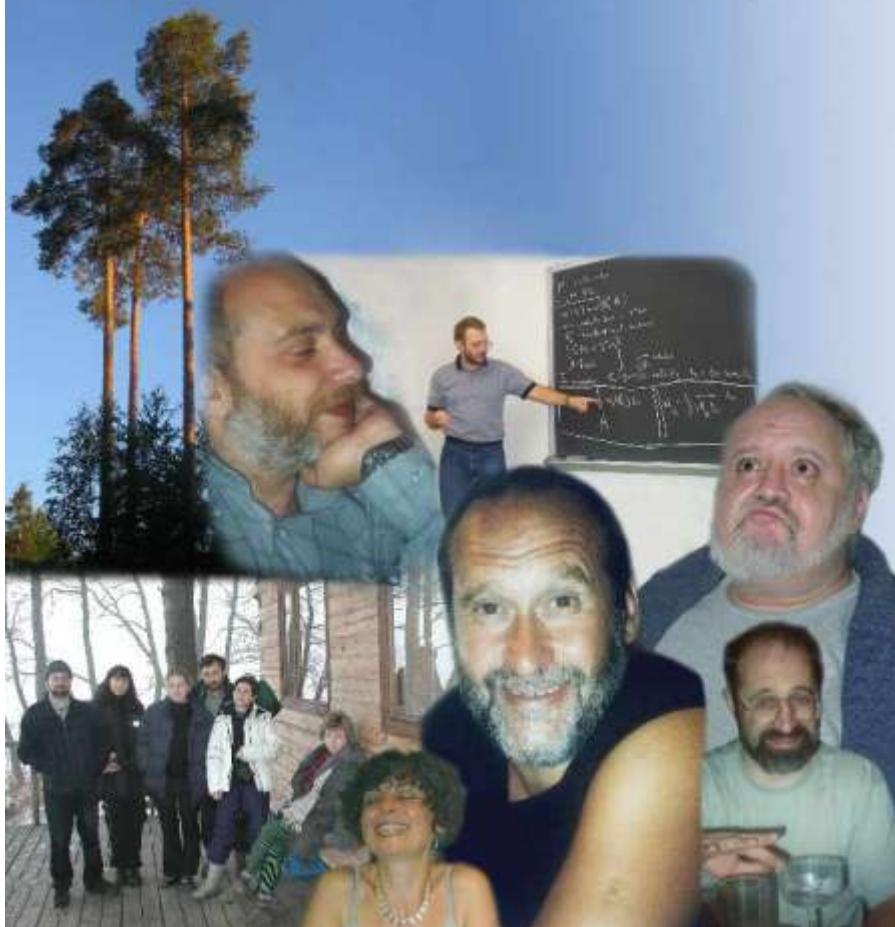
А когда придёт время меня хоронить – не надо горевать. Немыслимо, что придётся умирать! И очень не хочется. Хотя и нестерпимо любопытно: а что же *на самом деле*? Но главное: раз всё равно придётся, то *когда именно* – не так уж и важно. Давайте, ребята, не будем трусить! Меня любили женщины. И я их любил. Я «не зарыл, не пропил». Хотя, конечно, пил. И что-то, наверное, пропил. Или наоборот. Но видел два века. И множество стран. Я написал несколько книг. У меня много настоящих друзей. Даже стыдно просить о большем.

Какая разница, что будет с той несимпатичной тушкой, которая от меня останется? Говорят, сейчас места дороги. Практически рассуждая, думаю, что горшочек можно как-то засунуть под вышеупомянутый памятник моему деду. А сосны?.. Сосны-то всё равно будут шуметь надо мной в Горьковской.

Впрочем, пока я помирать не планирую. Ещё один «Берлиоз» нашёлся, да?



Стихи для Вайнштейна



Стихи для Вайнштейна

(нелирическая поэма)

Я подарил Серёже Вайнштейну свою книжку. Серёжа с ней вкратце ознакомился и вынес свой вердикт: «Для простого человека, вроде меня, непонятно и, соответственно, неинтересно». Поскольку пишу я для народа (или, по крайней мере, для лучшей его половины), то я подал прошение своей Музе об адаптации ниспосылаемого мне вдохновения до уровня, доступного массовому читателю. Прошение было принято благосклонно. Так появился цикл, названный мною «Стихи для Вайнштейна». Они, увы, бессильны выразить весь ужас и обречённость нашей участи белковых тел на планете Земля. Поэтому пришлось заниматься частностями. Стихи эти, кстати, были по большей части сочинены в уютном зелёном домике, спрятавшемся в зарослях гречихи в углу дачного участка в Горьковской.

I. На нарушение запрета врачей

Я как-то записал несколько кассет с застольным пением Вайнштейна. Слушать, особенно в машине, совершенно невозможно: непреодолимо хочется выпить. А теперь врачи запретили Вайнштейну пить... Но он всё равно пьёт. Чтобы вам зря не лазить в словарь, скажу честно: штейн («камень» по-немецки) здесь – просто тёмно-коричневая сырая руда для медного промысла. Так вот:

*Четыре стопки водки выпил
мой друг Вайнштейн.
Ему дадут за это вымпел!
Его загар – не бронза: штейн!
Ах, как он пил, и словно выпь, пел!
А я не пел, хоть пил портвейн,
хоть выпил чуть ли не бассейн.
Я – ни хт ферштейн...*

II. На его отъезд к морю

Этот текст, несомненно, сочинён из зависти: он-то едет, я-то – нет! – но также и в оправдание моей лени:

*Спеши на юг в волнении весёлом,
объединившись с юным женским полом,
воруй арбузы там по сёлам
и, ощутив себя в сём мире новосёлом,
жри мидий и купайся голым.
А я останусь тут – шалить глаголом.*

III. На домовитость его жены

Сначала я сочинил вот такое четверостишие, посвященное жене Вайнштейна, Лене Вилджюнайте, чьё нежелание заниматься, скажем так, домашней работой почти вошло у нас в поговорку:

*Литовская жена подходит чудною.
С такой и я, пожалуй, похудею.
Пока ж, лелея дерзкую идею,
лишь зря потею.
О будь моею!*

И увидел я, что случайно открыл просто неисчерпаемую тему. И продолжил, и мог бы ещё продолжать и продолжать, да боюсь – палками «побьють». А если кто смелый – милости прошу, дополняйте изречённую ниже мудрость:

*А русская, мне кажется, жена
ни на хрена еврея не нужна:*

*хоть без ребёнка
и не страшна,
но не эстонка
и не княжна,*

*в Святых Краях в правах поражена.
Какого ж лез ты на неё рожна?*

*Ах да: «Всё тонко...
Была нежна...»
Вот-вот: мошонка.
Важней – мошна!*

*Но и еврейке русский муж – нелепость:
из шалаша он мог бы сделать крепость,*

*но только вникни ж:
напитков крепость!
И чуть чирикнешь –
сама свирепость!*

*Сказать ещё? В моей цистерне течь:
слова свистят почище чем картечь!..
– Довольно с нас пророков и предтеч!*

*Но вовсе розни
не рвусь разжечь.
Гормонов козни
питают речь.
Хоть нет ни роз, ни
интима свеч.
...а час уж поздний,
пора прилечь.
Хоть нет ни роз, ни
интима свеч.*

IV. Экспромт

Кстати, врут, что стихи никому не нужны. Вот этот шедевр я бы продавал за бешеные деньги: имя в нём можно подставить почти любое, а барышень сшибает с ног почище шрапнели. Я тут одной прочитал – так сразу пригласила на свидание!

*Ах, Таня, в гости позови!
Пусть заржавела колесница –
твой беспокойный визави
готов немедленно явиться
и в стельку тотчас же напиться;
но в койке – доблестно трудиться
во славу срама иль любви.*

V. Назидание

Полагаю необходимым подробно рассказать историю нижеследующего (совершенно документального) творения. Дело вот в чём. На выезде загород в баню у Валуй украли велосипед. О чём я немедленно сочинил экспромт из четырех строчек, не упустив случая воспользоваться напрашивающейся к фамилии пострадавшего рифмой. Но Валуй всем своим видом показал, что несчастье – не предмет для шуток. Вечером пришел Оршанский и изложил, что у него-то уж явно есть моральное право относиться с иронией к валуёвской утрате, ибо у него, Оршанского, давеча спёрли автомобиль. А далее «немедленно выпил», умудрился поломать стульчак у меня в сортире, и уснул на балконе. А я, вдохновившись, сочинил еще одно четверостишие. И сразу зачитал Таньке. Та смеялась и спросила – какие ещё прочие беды. Я ответил, мол, мало ли... вот в тебя вцепился клещ (и верно, я сам, правда малоуспешно, участвовал в пугании его спичкой). И Танька тут же закричала, что да! – это похуже велосипеда, ей теперь надо на «укол ехать» – так что её трагедию я тоже должен увековечить. Ну, так я сел и за полчаса увековечил... На следующий день

Танька позвонила, и я ей прочитал, как она войдет в Историю... Танька струсилла и стала интересоваться, не поздно ли ещё всё переменить – и в Историю не входить. Но я твёрдо заявил (в духе графа Калиостро), что, мол, силы небесные уже приведены в движение... А дабы убедиться, что на рифмованные шутки Валуй теперь не сердится, я на следующий день принёс ему на теннисный матч вот такую ерунду:

*Я проиграл игру всухую.
Пусть – Валую, скажу – Валую.
Хотя мне это всё равно.
Я совершенно не психую
уже давно:
вот срифмовал его втихую,
сизжу себе, гляжу в окно,
чешу за ухом, в ус не дую
и пью, естественно, вино:
уж видно дно.*

А потом ещё и выиграл. Но Валуй больше не обижался.

Утраты и беды

Саше, Тане и Диме – назидательно

*Пришел Оршанский. Весельчак! –
сломал в сортире мне стульчак.
А у него – беда, беда! –
попёрли «Ладу». Вот те да...*

*Но оптимист, хитёр и быстр,
душой – дитя, лицом – министр,
смешал коктейлей вмиг галлон,
хоть было пива пять канистр,
и удалился на балкон,
Морфею в лапы (то бишь в сон).*

*А сам-то автор, смел и пьян,
сжевав копчёного леща,
обут, известно, не в сафьян,
напитки всякие хлеща,
по Тане шарил, грубиян,
чудес каких-то там ища.*

И отыскал на ней клеца.

*Что, кстати, даже не изъян.
В отличие, скажем, от прыща.*

*Ещё, задумчив и суров,
с пакетом теннисных шаров,
гроза мерзавцев и воров,
пришел Валуя, угрюм как змей, –
сидит, нахохлившись, как сыч, –
ты рифмовать его не смей
и рифмой в нос ему не тычь:*

*прожил он сорок трудных лет
в России. Только толку нет.
А нынче кроме прочих бед
потырили велосипед*

*у Валуя!
Ну – вот те да...*

VI. Ami de cour

К вопросу о новаторстве замечу, что последнее стихотворение цикла открывает для русской поэзии новую форму: пятнадцатистрочный сонет (паапрашу не путать с сонетом с кодой!). Применять следует, когда четырнадцать строк не хватает. Я очень стремился к народности: в первой редакции даже словечко «блядь» промелькнуло (это я о блуждающих звёздах, не подумайте чего!), но я воспользовался французским, и сразу стало только непосредственнее. На всякий случай (ибо меня уже спрашивали): я не «опечтался» и имел в виду не «ami du соeur», а именно «ami de cour». Впрочем, если знать оригинальную версию, это становится очевидно.

Звёздный дождь

(пятнадцатистрочный сонет)

*И звездочёты при метеоризме
не думают о звёздах свысока.
Читатель рифмы ждёт. Об онанизме
поэт заводит речь издалика.
А я служу Искусству и Отчизне:
во славу Русского я выпью языка! –
и жизнь моя безоблачно-легка –
особенно при здешней дешевизне.*

*Хоть не прельщаюсь грошевым уютом,
ловить мышей труднее с каждым пудом:
ну никакой, прелестницы, нет мочи!
Как ни чешись, не совладаешь с зудом.
О мой ami de cour, ты хочешь в Сочи?
И полнятся стихи народным гудом,
подслушанным, топ шер, в объятьях ночи.*

Содержание

Отягчающие обстоятельства.....	5
--------------------------------	---

Вокзал

Город.....	11
Баллада о тюлевых шторках.....	12
Куклы.....	14
Голуби.....	16
Чебурашка.....	17
Платье.....	18
Серафим.....	19
Саше Леонтьеву.....	20
Ностальгия.....	21
Объяснение в любви.....	22
Неудавшееся подражание Кушнеру.....	24
Причиталки.....	25
Чужое столетие.....	26
Вокзал.....	28

Времена Года

Начало века.....	31
Норвежский лес.....	32
Дорожная элегия.....	33
Купальщицы.....	36
Шарада.....	37
Таллин.....	38
Крымская песенка.....	40
Держава.....	41
Июль.....	42
На последнем дыхании.....	44
Гербарий.....	45
Шпалы.....	46
Гроза.....	47
Осень.....	48

Памятник

Душа.....	53
Колыбельная для дочки.....	54
Дрозд.....	56

Ручей.....	57
Фотографии	58
Может быть	59
Клёны	60
Река	61
Варежка	64
Музыка	65
Памятник.....	66

Прямая Речь

Смех сквозь слёзы	69
Мотыль и словесность	72
В альбом	79
Любопытство.....	80
Джек Лондон и китайцы	81
Про женщин.....	82
Люди и числа	82
Нежность.....	84
Аэропорт	84
Две пуговицы	86
Вместо посвящения.....	87
Волшебное чудо науки	89
Осьминог и шутки эволюции	90
Дети и водородная бомба.....	91
Защита Лужина	92
Эксперименты над душой.....	93
Павлины.....	95
Ускоритель мышления	96
Железнодорожная улица	98
Двадцать квартир	100
Просьба	102

Стихи для Вайнштейна

На нарушение запрета врачей	105
На его отъезд к морю	106
На домовитость его жены	106
Экспромт	108
Назидание.....	108
Утраты и беды	109
Ami de soug	111
Звёздный дождь	111

Когда нужно было придумать название для моей предыдущей книжки, мой брат предложил очень простой алгоритм: найди осмысленное словосочетание, которое встречается чаще всего. Так я тогда и поступил. «Чужое столетие» – ничего, да?

Примени я тот же метод к этой книжке, и она, несомненно, называлась бы «Может быть». Что, может быть, было бы не так уж и плохо. Но так не случилось. Почему? Потому что она называется «Город».

Этот город имеет свои географические координаты: широту и долготу. И застроен он не дворцами, а обшарпанными домами: блочными и кирпичными, «сталинскими», «хрущёвскими» и всякими прочими. И деревья там всё больше больные: неправильно подрезанные, как калеки, или поедаемые какой-то насекомой дрянью, обклеивающей их ещё к тому же липкой ватой.

Есть, разумеется, в этом городе и дворцы и музеи; есть и мэр, и представитель президента, и еще множество самого разнообразного люда: продавцы в магазинах и некто в «мерседесах» с тонированными стёклами; шумная шпана под окнами и трудолюбивые дворники; депутаты, бюрократы и прочие водопроводчики; гаишники и другие бандиты; проститутки и иные длинноногие красавицы. Но это всё так, массовка.

А живут в этом городе мои друзья и подруги: чудесные, настоящие и неповторимые. И какие-то окна сейчас ещё, может быть, светятся... но это скорее исключение. Потому что дописываю я книгу вечером в Америке, когда в моём городе уже почти начинается день: четыре утра. Но даже в самом начале осени в такую рань там ещё темно. Мосты свели, но трамваи ещё не ходят. И только отдельные уцелевшие фонари отражаются в чёрной ряби Невы.